



Совместная комиссия
по изучению новейшей истории
российско-германских отношений

Бюллетень № 1

Трансформации политических систем и историческая память: опыт Германии и России

Сборник статей

**Уте Даниель, Манфред Хильдермайер, Бернд Фауленбах,
Бианка Пиетров-Эннкер, Аркадий Цфасман, Ян Фойтцик и Алейда Ассман**

2014

Уте Даниель	
Первая мировая война как эпохальный перелом немецкой истории.....	3
Манфред Хильдермайер	
Россия в 1917 г.: революционный разрыв или неразрывность модерна?.....	15
Бернд Фауленбах	
Перелом 1945–1949 гг. как веха и ключевой момент немецкой и европейской истории.....	25
Бианка Пиетров-Эннкер	
Воспоминание и историческая память. Национал-социализм и сталинизм в сравнении.....	36
Аркадий Цфасман	
Освещение роли Сталина в советских школьных учебниках по истории СССР (середина 1930-х – середина 1980 –х гг. XX века).....	49
Ян Фойтцик	
Изложение истории в российских учебниках.....	57
Алейда Ассман	
От коллективного насилия к общему будущему: четыре модели обращения с травматическим прошлым.....	73

Уте Даниель

Первая мировая война как эпохальный перелом немецкой истории

Первая мировая война относится к тем эпохальным событиям, которые порождают собой коренные изменения как на глобальном, так на национальном и региональном уровнях. Это общеизвестный факт, поэтому я упомяну здесь лишь несколько ключевых тезисов: со всемирно-исторической точки зрения Первая мировая война привела к эпохе западно-восточной биполярности, которая продлилась до 1989–1990 гг., а также стала предвестником деколонизации. В немецкой истории годы войны с 1914 по 1918 гг., увенчавшиеся революцией 1918–1919 гг., аналогичным образом стали причиной решающих изменений: я назову только переход к парламентской демократии, Версальский договор с его разнообразными последствиями; потерю собственности немецкого просвещенного бюргерства и чиновничества в результате инфляции; обострение антисемитизма; внутригерманскую гражданскую войну (в особенности в начале и в конце Веймарской республики), а также расцвет таких антидемократических движений как национал-социализм.

Что касается определения места Первой мировой войны и ее последствий в немецкой истории, то это происходит ретроспективно, что вполне понятно, с учетом знания о том, что последовало позже: война, ее завершение и ее следствия сплошь и рядом рассматриваются лишь как предыстория «Третьего рейха». Без всякого сомнения, события 1914–1918 гг. и их последствия действительно выступают предысторией национал-социализма. Тем не менее эта заданная линия развития, это толкование войны *ex post* историками (которые знают будущее тех людей, историю которых они пишут), заслоняет собой взгляд на другие важные аспекты эпохального перелома 1914–1918 гг., а именно на те, которые не совпадают с линией развития, восходящей к 1933 г.

Что я подразумеваю под «не совпадают с заданной линией развития»? Под этим я подразумеваю аспекты, которые, хотя они были также важны для Германии образца 1918 г., имели значение не только исключительно для немецкой истории. Речь идет о тех аспектах, которые, хотя и вписываются в историю подъема и расцвета национал-социализма, но сверх этого принадлежат также совершенно другим «историям» – аспекты, которые нашли свое развитие в общем течении XX века. На одном таком – как я полагаю, особенно важном – аспекте эпохального перелома как результата Первой мировой войны, я хотела бы сконцентрироваться ниже и представить читателям

Первую мировую войну как катализатор эпохальной тенденции значительной продолжительности, а именно тенденции к новой интерпретации социума индустриальных наций как «информационных обществ». То, что сегодня все мы живем в рамках так называемых информационных обществ, является азбучной истиной и расхожим речевым оборотом. Однако менее известно то, что соответствующий образ восприятия общества был весьма распространен уже во времена Первой мировой войны, и не только в Германии. Вследствие этого менее известным является также влияние, оказанное этой общественной саморефлексией на политическую культуру индустриальных стран. Принимая во внимание небольшие размеры настоящей публикации, я попытаюсь представить здесь это культурно-историческое толкование Первой мировой войны как эпохального перелома в виде эссе, но все же надеюсь, что мне удастся разъяснить, насколько значительным является данный аспект истории мировой войны для мировой истории в целом и немецкой – в частности. Чтобы продемонстрировать совершенно транснациональный характер этого изменения, я, наряду с немецкими источниками, буду привлекать также американские и британские; только тогда станет очевидным, что вызревание «информационного общества» как факта общественно-политической жизни того времени (с его весьма проблематичными последствиями для демократии) отнюдь не являлось немецкой спецификой.

В 1927 г. была опубликована книга „Propaganda technique in the World War“ Гарольда Лассуэлла, одного из основателей американской школы изучения воздействия средств массовой информации. Однако выводы Лассуэлла вышли далеко за рамки непосредственного описания и анализа военной пропаганды образца мировой войны: «Пропаганда является одним из мощнейших инструментов современного мира. <...> В современном обществе [“*Great Society*“ – У.Д.] больше не является возможным объединить в одно целое непредсказуемость индивидуумов посредством ритуальной военной пляски; новое и более хитроумное средство должно сплотить в единую массу ненависти, воли и надежды тысячи, а подчас и миллионы человек. Новое пламя должно выжечь язву инакомыслия и закалить сталь воинственного воодушевления. Имя этого нового „молота и наковальни“ общественной солидарности – пропаганда. <...> Пропаганда является уступкой своевольному духу эпохи. Узлы персональной лояльности и приверженности, которые когда-то привязывали мужчину к его вожаку или господину, уже давно распались. Монархия и классовое господство также разделили участь всего земного и сошли с арены, в то время как обожествление индивидуума является официальным культом демократии. Это атомизированный мир, в котором личная прихоть имеет большую свободу рук, чем когда-либо, и он требует гораздо больше усилий для достижения координации и унификации. Новым

противоядием против своеволия индивидов является пропаганда. Если народные массы хотят быть свободными от железных оков, то они должны смириться с серебряными цепями. Если они не хотят любить, почитать и повиноваться, то они должны быть готовы к тому, что их соблазнят».¹

Две вещи бросаются в глаза в этом высказывании: образ атомизированного общества и связанное с ним представление о демократии, а также теория об эффективности средств массовой информации и связанное с ней понятие пропаганды. И то и другое ни в коем случае не было спецификой данного автора, напротив, в 1920–30-х годах это было скорее неким видом *common sense* (здорового смысла) для тех, кто в научном плане, в качестве практика или рассуждающего наблюдателя действительности занимался оценкой значения средств массовой информации – и не только в США. Обобщающий термин «средства массовой информации» еще не был тогда в ходу – единственным существовавшим средством массовой информации во второй половине 1920-х годов все еще была пресса, радио только готовилось к тому, чтобы занять свое достойное место; но понятие пропаганды и у этих авторов, и у других комментаторов включает в себя гораздо больше, чем только вопрос о воздействии, которое способны оказать газеты, а именно вопрос о влиянии в целом персуазивной символической коммуникации² в устном и письменном виде, в образе и действии. Это в свою очередь, как я полагаю, делает вполне разумным и легитимным применение нами в данной работе расхожей сегодня терминологии – «СМИ» и «влияние СМИ».

Дальше хотелось бы пояснить тезис, согласно которому достижение обществом специфического «современного» состояния, такого как «массовое общество» (или “*Great Society*“ в англоязычном варианте) связано, с одной стороны, с опытом Первой мировой войны, с другой стороны, с возникновением представления о новом общественном устройстве, которое приводит к идее «информационного общества» (что происходило как в парламентских демократиях, так и в обществах, для которых – как это было в Германии после 1918 г. – демократия была новым опытом). В дискурсах, темой которых с новой остротой стали взаимоотношения между средствами массовой информации и обществом, скрестились различные уровни, которые образовали почти

¹ *Lasswell H.D.* Propaganda technique in the World War. London, 1927. P. 220–222.

² Персуазивная коммуникация в самом общем виде определяется как ментально-речевое взаимодействие коммуникантов, реализующее попытку воздействия адресанта на ментальную сферу реципиента с целью изменения его поведения (побуждения к совершению / отказу от совершения определенных действий). (Прим. пер.).

безальтернативный и стойкий шаблон толкования общества, структурированного масс-медиаально. Речь здесь идет о носителях дискурса – образованных элитах и ученых, которые частично скрытно, частично явно занимались саморефлексией, облачившейся в одежды алармистской диагностики общества; об острой нехватке позитивных демократических ожиданий будущего, обусловленной или соответственно усиленной опытом пропаганды мировой войны, и, наконец, также о том, что во всех дискурсах, связанных со СМИ, нашел свое отражение в этой форме совсем новый коэффициент напряжения между технократическим одобрением и культурно-пессимистическим отрицанием в отношении происходящего, возникший под впечатлением почти безграничной возможности манипулирования обществом.

Жалобная песнь об утрате контроля за обществом, культурно-критическая тревога старых элит и старших поколений перед лицом конкурирующих амбиций на лидерство или новых мод столь же стары, как сама история культурных традиций. Но отличительным моментом опубликованных в огромном количестве около 1900 г. алармистских прогнозов было то, что центральная тема обсуждения как традиционалистов, так и «футуристов», а именно возникновение «массового общества», или в англоговорящем пространстве “*Great Society*“, стала тем, что взорвало традиционную взаимодополняющую изменчивость интерпретаций традиционалистских и прогрессистских «близнецов». Теперь не только те, кто испытывал ностальгию по прошлому, хотя и они тоже, предупреждали об угрозе утраты контроля в целом и, в особенности, предостерегали от того, чтобы рассматривать унаследованные представления общественно-политического руководства как устаревшие – эти два пункта образовывали ядро хода мыслей, кружившего вокруг «массового общества» и “*Great Society*“. Аналогичные опасения выражали теперь также интерпретаторы, как раз ориентированные на реформы и на будущее, которые таким образом были весьма далеки от того, чтобы включить это расхожее описание массового общества в свой оптимистический проект будущего. Их заключительные выводы были совершенно другими, но их окраска больше не дополняла культурно-пессимистические умозаключения, скорее она поменялась, если смотреть из перспективы сегодняшнего дня, на удивительно переливчатый колорит, затушевывавший прежние политические разногласия.

Что на пороге XX века так сильно затрудняло формулировку непротиворечивой картины будущего, так это насквозь двойственный и противоречивый новый образ

человека, чего не смогла избежать ни одна часть политического спектра. Этот образ был научно обоснован на языке нового гуманитарного знания, в особенности психологии, эволюционной биологии, а также психоанализа, и стал *common sense* тогдашней общественной саморефлексии. Новый человек «массовой психологии» и таких тогдашних проектов, которые впрочем стояли достаточно далеко от элитарного основателя этого направления мысли, французского врача Густава Лебона, руководствовался животными инстинктами, бессознательными потребностями и испытывал острую нехватку рационального. Для Лебона его социальным прообразом выступал склонный к разрушению пролетарий:

«Требования масс сегодня становятся все более и более отчетливыми и сводятся к не меньшему, чем тотальное ниспровержение существующего сегодня общества, чтобы на его месте ввести примитивный коммунизм, который до начала культурного состояния был нормальным состоянием всех человеческих сообществ. Ограничение рабочего времени, экспроприация шахт, железных дорог, фабрик и земли, равное распределение всех материальных продуктов, упразднение всех имущих классов в пользу народных слоев и т.д. – вот их требования. <...> До сего времени культура создавалась и возглавлялась малочисленной интеллектуальной аристократией. Массы не принимали в этом участия, они имели только одну силу – силу разрушения. Господство массы всегда означает шаг к хаосу. Культура предполагает твердые правила, дисциплину, означает переход от инстинкта к разуму, прогноз будущего и высокую степень образования в целом – условия, для которых предоставленные сами себе массы остаются полностью недоступны. Вследствие их только разрушительной силы они оказывают на общество действие, аналогичное воздействию тех микробов, которые ускоряют гибель ослабленного тела или разложение трупа».³

Для британского социального философа Грэхема Уоллеса⁴ вывод о принципиально эмоционально нагруженной, подверженной манипуляциям человеческой натуре не ограничивался только низшими слоями общества, но был справедлив для всего «современного» человечества. Уоллес предоставил в распоряжение начинавшегося XX века нейтральный термин для критического анализа современности – “*Great Society*“, который адекватно отобразил распространенные в англо-американском языковом пространстве контрасты между болезненным опытом современности и воображаемым опытом якобы цельного и свободного от противоречий прошлого. В своей опубликованной в 1914 г. книге “*The Great Society*“ он выявил очередной пласт проблем, а именно подавляющее впечатление всеобщей утраты контроля, чем затруднил даже тех, кто был меньшим пессимистом, чем Лебон, в создании эскиза непротиворечивого будущего:

³ *Le Bon G.* Psychologie der Massen (1895). Stuttgart, o.J. [1938]. S. 3, 5.

⁴ *Wallas G.* The Great Society: A Psychological Analysis (1914). New York 1920.

«До самого последнего времени подавляющее большинство мирового населения жило в маленьких поселениях, почти полностью обеспечивавших себя. <...> Но в наше время обеспечение продовольствием тридцати пяти миллионов из сорока пяти миллионного населения Соединенного Королевства зависит от системы мировых связей, которая является гораздо более сложной, чем те, которые были созданы Ассирией или Римом для снабжения своих столиц. <...> То, что правда злит и тревожит нас сегодня, когда мы пристально всматриваемся в общество, в котором живем – это не убеждение в том, что мир стал хуже, чем был раньше, а чувство того, что мы потеряли контроль над течением событий и впустую растрачиваем власть над природой, которая могла бы сделать мир определенно лучше».⁵

Как выяснилось, современности больше не были адекватны также унаследованные представления о тех способах, с помощью которых традиционно осуществлялось управление обществом – это был третий проблемный контекст, из которого «кормились» аналитики всех политических окрасок. Это было справедливо как для демократически организованных наций, так и для остальных – только с обратным знаком. В кайзеровском рейхе социолог Макс Вебер диагностировал в мае 1918 г. – тогда он еще видел политическое будущее Германии в конституционной монархии, которая за счет улучшенного отбора руководящего персонала сможет сделать эту форму правления годной для Германии в ее ипостаси великой державы – неудержимую «демократизацию партийной деятельности как на левом, так и на правом флангах».⁶ Под этим он имел ввиду новое влияние «”массы” как таковой (и неважно, какие социальные слои формируют ее в каждом отдельном случае)», которая способна думать «только до послезавтра», поскольку она, «как показывает любой опыт, постоянно подвержена актуальным, чисто эмоциональным и иррациональным веяниям».⁷ Адекватную селекцию вождя в этих новых условиях может гарантировать только «современная массовая пропаганда»⁸:

«Поскольку не политически пассивная „масса“ порождает из себя вождя, а политический вождь вербует себе сторонников и завоевывает массы с помощью „демагогии“. И так происходит при любом, даже самом демократическом строе».⁹

После 1918 г. практически во всех индустриальных государствах не только установился демократический строй, но и утвердился подход к прессе, который – от

⁵ *Wallas G.* The Great Society. P. 12, 323.

⁶ *Weber M.* Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland: Zur politischen Kritik des Beamtentums und Parteiwesens (Mai 1918) // *Weber M.* Gesammelte politische Schriften / J. Winckelmann (Hrsg.). Tübingen, 3. erneut vermehrte Aufl. 1971, S. 306–443, здесь S. 406.

⁷ Там же, S. 404.

⁸ Там же, S. 384.

⁹ Там же, S. 401.

«левой» и вплоть до «правой» сферы спектра мнений – рассматривал общественную функцию средств массовой информации как инструмента демагогического воздействия и манипулирования массами. *Enfant terrible* культурной жизни Америки 1920-х годов, Генри Луис Менкен, чьи соленые тирады о глупости, зависимости от игры гормонов и склонности простого человека становиться жертвой манипуляций дают основание скорее отнести его к «правым», предлагал в своей вышедшей в 1926 г. книге „Notes on democracy“ написать историю американской демократии как историю управления «овечьей» стороной натуры массового человека посредством продолжительного и систематически применяемого внушения страха перед вражеской угрозой, и не важно, кто выступает в качестве врага – гессенские наемники, тресты, Панчо Вилья, немецкие шпионы, Уолл-Стрит, немецкий кайзер или большевики. С помощью таких пугал, считал Менкен, американские избиратели были загнаны в мировую войну, и точно также их науськают и заставят принять участие в следующей войне. Так называемое общественное мнение фабрикуется профессорами массовой психологии и в редакциях газет, из сырья, которое поставляется боязнью «человека массы»:

«Общественное мнение, в своем “сыром” виде, хлещет фонтаном в форме архаичных страхов толпы. Потом оно по трубам передается на центральные фабрики, ему придают вкус и цвет, и разливают по банкам».¹⁰

Годы Первой мировой войны стали тем временем, когда все три вышеназванных аспекта – новый психологизированный образ человека, подчеркивающий его склонность становиться объектом манипуляции, потеря контроля над обществом в результате «сложности» “Great Society“, а также вопрос об угрожающих или необходимых (в зависимости от прочтения) возможностях политического управления и манипулирования в условиях эпохи демократии масс и средств массовой информации – были объединены родовым понятием «пропаганда». Именно они одновременно придали проблеме пропаганды новую степень приоритетности. Во всех государствах, принимавших участие в боевых действиях, пропаганда, активно проводимая как вовне, так и внутри страны, была в ходе войны повышена до ранга важнейшего средства ее ведения. Повсюду между августом 1914 г. и ноябрем 1918 г. многочисленные лица и институты были заняты производством листовок, оптимизацией их распространения, производством агитационных фильмов, организацией сообщений с фронтов, индоктринацией своих собственных солдат, призывами к охоте на внутреннего врага и пропагандой либо целей войны, либо мирных предложений. И непосредственно сразу

¹⁰ *Mencken H.L.* Notes on Democracy. New York, 1926. P. 192.

же после окончания войны все эти специалисты в области персуазивной коммуникации опубликовали отчеты и сообщения о своих достижениях, которые оказались на полках книжных магазинов рядом с многочисленными обвинительными произведениями тех, кто чувствовал себя жертвой пропаганды в целом или в особенности жертвой пропаганды со стороны бывших врагов, собственного правительства или союзников.¹¹

И как бы ни было несомненным то, что в этой Первой мировой войне эпохи средств массовой информации бесконечно много обманывали, приукрашивали, скрывали или преувеличивали, что никогда еще прежде в течение столь долгого времени и с такой интенсивностью не пытались повлиять на то, как люди в своей собственной или враждебной стране интерпретируют события войны, столь же спорным является реальный эффект этой гигантской индустрии манипуляции. Однако фактом остается то, что современники войны, вне зависимости от их национальности и от их политических убеждений, фактически в унисон твердили о чудовищно сильном, практически неотразимом воздействии пропаганды. Возможно, это было в не меньшей степени следствием громогласной саморекламы оставшихся не у дел пропагандистов всех стран – Теодор Гейгер позднее охарактеризует этот эффект усиления как «рекламу рекламы»¹² –, как и действительного опыта пропаганды самого военного времени. Следует также учитывать еще один момент: в некоторых странах представление о том, что с помощью пропаганды можно практически неограниченно манипулировать людьми и целыми государствами, стало составной частью важнейших направлений политической борьбы послевоенного времени. Это утверждение справедливо также для Германии, в которой разлагающий эффект вражеской пропаганды, действовавшей на гражданское население и на фронтовиков, рассматривался бывшим Верховным командованием сухопутных сил как одна из важнейших причин поражения Германии, и в этой ипостаси он стал частью «легенды об ударе кинжалом в спину». То же самое наблюдалось и в США, где критика ревизионистов, направленная против решения Вудро Вильсона о вступлении в войну, придавала большое значение в осуществлении этого шага британской пропаганде. Также те способы, посредством которых в 1917–1918 гг. американское общество военного времени при пособничестве “Committee on Public Information” – самого изобретательного и деятельного учреждения пропаганды

¹¹ Привожу здесь только несколько наименований из большого числа публикаций: *Creel G.* How we advertised America. New York, 1920, Repr. New York, 1972; *Mühsam K.* Wie wir belogen wurden: Die amtliche Irreführung des deutschen Volkes. München, 1918; *Stuart C.* Geheimnisse aus Crewe House: Die Geschichte eines wohlbekannten Feldzuges. Leipzig, (первое издание – Лондон, 1920).

¹² *Geiger Th.* Kritik der Reklame (1943). Siegen, 1986.

времен войны во всем мире – и его специалистов по рекламе, было принуждено стать на точку зрения правительства, стали негативной газетной сенсацией. В этих двух странах, однако не только в них, всеобщий синдром был усилен панической реакцией на ужасные сценарии развития в результате вездесущей большевистской революционной пропаганды. «Красная угроза», политическая ангажированность обвинений в ведении пропаганды и «реклама рекламы» военных пропагандистов, из рядов которых после 1918 г. вышли многие государственные и коммерческие специалисты по пропаганде и пиару, образовали в результате своего сплава теорию о неотразимом воздействии средств массовой информации, разделяемую как сторонниками, так и противниками этой техники манипуляции.

Даже если опыт мировой войны действительно не добавил ничего принципиально нового к предшествующим шаблонам восприятия пропаганды, лишь усилив и обострив их, то, учитывая подавляющую убедительность, излучаемую мощью военной пропаганды, пути назад уже не было. Ностальгические присягания традиционным формам обобществления, которые казались менее отчужденными, более прозрачными и способными оказывать сопротивление манипулированию, в рамках которых «общественное мнение» все еще продолжало определяться образованными верхними слоями общества и заслуживающими доверия политиками, оказывались отныне все более неуместными.¹³ Этот диагноз как таковой не был новым, новой была та неизбежность, с которой он после Первой мировой войны пропитывал научные и политические общественные проекты. Считалось, что массовое общество, “Great Society“, не может быть ни подвергнуто анализу, ни быть управляемым, если не будет принят в расчет один из важнейших инструментов, с помощью которого можно укротить и усмирить его психические, социальные и материальные центробежные силы. Поэтому феномен пропаганды все больше и больше становился темой общественной саморефлексии, которая имела тенденцию развиваться в направлении того, что сегодня называется «информационным обществом»¹⁴: эта рефлексия описывала опыт обобществления индивидуального, который больше невозможно было

¹³ Очевидно поэтому работа Фердинанда Тонни (Ferdinand Tönnies) „Kritik der öffentlichen Meinung“ (Berlin 1922) оказалась в самом настоящем вакууме восприятия: старейшина немецкой социологии предпринял в ней еще одну попытку поддержать старую элитарную версию формирования «общественного мнения» в противовес новой реальности века средств массовых информационных технологий.

¹⁴ Кори Росс (Corey Ross) предлагает использовать термин «медийная демократия» для описания эпохи после Первой мировой войны и современного ей дискурса, связанного с новыми формами обобществления индивидуальной сферы; Ross C. Mass Politics and the Techniques of Leadership: The Promise and Perils of Propaganda in Weimar Germany // German History 2006. Н. 2. Р. 184–211, здесь Р.184.

представить без участия средств массовой информации, а также политический опыт, который по крайней мере должен был учитывать, если не планировать, новые возможности манипулирования общественным сознанием. Отныне тем клеем, который не давал обществу распасться и формировал его в дееспособную единицу, была пропаганда. Вот как это выразил немецкий социолог Иоганн Пленге:

«Вершиной теории об обществе является теория его организации, теория практического искусства, позволяющего объединять разрозненные людские воли воедино и удерживать их в этом состоянии. Эта практическая сторона общественной теории немыслима без пропаганды. <...> И чем больше общество заменяет собой общность, чем больше каждый отдельный индивидуум должен полагаться только на себя и сам пробивать себе путь, <...> чем больше бушуют беспорядки масс, чем многообразнее становится членение социальных слоев, тем сильнее вырастает в объеме и интенсивности силовое поле пропаганды. Скажем так: уравнивающий порядок и объединяющая организация должны в свободном взаимодействии снова создать из хаоса космос. В результате мы требуем самой эффективной пропаганды, обладающей наиболее мощной силой убеждения.»¹⁵

То, что представления о традиционной демократии тяжело уживались с такой картиной общества, не осталось скрыто от самих прогнозистов – хотя и не все они так наглядно изображали замену самостоятельного, независимого гражданина, определяющего политику своим зрелым решением и избирательной позицией, человеком массовым, которого на веревочках персуазивной коммуникации силой тащат по жизни, как это делал уже цитированный выше Гарольд Лассуэлл, – один из основателей американской академической теории коммуникации. Также и для него общество и демократия были больше немыслимы без массивного “engineering of consent”¹⁶: если общество вообще возможно, то только при условии, что индивидуум, от которого можно ожидать всего что угодно, будет ведом по жизни с помощью серебряного каната пропаганды. Но не только профессионалы из академической или коммерческой среды находившегося в процессе становления «информационного общества» и сопутствующей ему технократии персуазивной коммуникации исходили из неизбежности новых форм обобществления индивидуального, но и либералы, такие как американский философ-прагматист Джон Дьюи, который в конце 1920-х годов разочарованно подтвердил появление нового образа общества и человека – в

¹⁵ *Plenge J.* Deutsche Propaganda: Die Lehre von der Propaganda als praktische Gesellschaftslehre. Bremen, 1922. S. 13, 42.

¹⁶ Так называлась одна из публикаций Эдварда Бернейса: *Bernays E.L.* The Engineering of Consent // *The Annals of the American Academy of Political and Social Science* 1947. V. 250, 1. P. 113–120.

формулировках, которые предвосхитили более поздние диагнозы о возникновении перманентно «возбужденного» информационного общества¹⁷:

«Я предполагаю, что более интеллигентные среди тех, кто руководит агентствами в сфере публицити, кующими общественное согласие, смущены своими собственными успехами. Я могу себе представить, что они с цинизмом рассматривают свою способность добиваться желаемых результатов к нужному моменту времени <...>. Используемые методы приводят к созданию массового легковерия, которое перепархивает от одного события к другому в зависимости от царящего настроения дня. Мы думаем и чувствуем одинаково – но только в течение месяца или сезона. Однако потом происходит какое-нибудь другое сенсационное событие или на сцене появляется другая личность, вновь оказывающие эффект гипнотизирующего единообразия восприятия.»¹⁸

Политическая пропаганда, пиар и зримое расширение сферы средств массовой информации на кино и радио слились в сценарий повсеместного обольщения и обмана, воспринимавшийся как чрезвычайно угрожающий. Этот вывод равным образом разделяли как «левые», так и «правые» диагносты современного общества, притом во всех промышленных странах. Но тем не менее они различались в расстановке главных акцентов: либералы и левые били тревогу, заявляя об угрозе демократии и свободе слова со стороны фашизма и национал-социализма. Но они были шокированы тем, что всепроникаемость персуазивных техник коммуникации точно так же характеризовала американское общество, как фашистское и национал-социалистическое. В свою очередь прогнозисты-технократы, как цитируемый ранее Гарольд Лассуэлл, напротив, рекомендовали использовать новые возможности манипулирования, чтобы защитить демократию от пропаганды путем использования пропаганды.

Ретроспективный взгляд позволяет увидеть, что именно такое представление об «информационном обществе» царило также в последующие десятилетия: в ходе Второй мировой войны и во времена Холодной войны повсеместное использование СМИ и активно осуществляемая пропаганда были признаны главным политическим средством управления массами. Связанное с этой трактовкой представление о сверхмощном воздействии СМИ, посредством которых можно практически безгранично манипулировать людьми, в послевоенные десятилетия стало постепенно терять свою достоверность – ирония судьбы заключается в том, что все это случилось именно тогда, когда реальностью наших дней стало не только воображаемое, но и самое реальное информационное общество: общество, в котором СМИ и реально существующая

¹⁷ *Türcke Ch.* Erregte Gesellschaft: Philosophie der Sensation. München, 2002.

¹⁸ *Dewey J.* Individualism Old and New (1929), опубликовано повторно в *Dewey J. The Later Works*, 1925–1953. Bd.5: 1929–1930. Carbondale u.a., 1984. S. 41–143, здесь S. 82–83.

демократия объединились в новую форму организации политики, в рамках которой ни актеры, ни реципиенты уже не могут различать между репрезентацией действительности и действительностью репрезентации.

Манфред Хильдермайер

Россия в 1917 г.: революционный разрыв или неразрывность модерна?

Прерогатива историка - исследовать каждую предполагаемую точку разрыва исторического процесса на предмет, такова ли она в действительности. Ведь *raison d'être* исторической науки состоит именно в том, чтобы исходить из предпосылки, что разрывов на самом деле быть *не может*: теоретически история охватывает все, и ничто не может вырваться из нее. Но если история, говоря по Гегелю, и содержит в себе свое собственное отрицание, то должны присутствовать также неразрывность и соединение – в любом сегменте широкого и многообразного потока случившегося. Это справедливо и для революций, которые обычно расцениваются как высшее проявление разрыва и дискретности, разрушения старого и начала нового. Революции не были кабинетными интригами – они привели к власти новые режимы, как в 1917 г. в России или в 1918 г. в Германии.

Тем более притягательным был и остается вопрос, не скрывают ли революции под поверхностью радикальных новаций также и некоторую непрерывность? Как известно, этот вопрос уже ставился ранее в отношении Великой французской революции, а в ходе «культурно-исторического поворота» последних двух десятилетий он приобрел новую актуальность и новый вес. В своей первоначальной версии он неразрывно связывается с классическим трудом Алексиса де Токвилля «Старый режим и революция».¹⁹ Уже или еще с удивительно короткой дистанции – отец Токвилля числился среди жертв революции, и с него самого взыскали – этот проницательный либерально-консервативный аналитик открыл, что и революционное правительство, и, тем более, наполеоновская частичная реставрация, если скрупулезно их рассматривать, продолжили административный и политический процесс централизации, начатый еще при *Ancien régime*.²⁰ Преемственность можно было осязаемо ощутить также социально-исторически; ведь после окончания радикальной революции в значительной мере именно старый слой *bourgeoisie d'ancien régime* больше всех извлек пользу из новых основ гарантии собственности и широкого беспрепятственного доступа в новый

¹⁹ См. следующее издание: *Alexis de Tocqueville, Der alte Staat und die Revolution*. Hg. v. J. P. Mayer. München 1989.

²⁰ Прежде всего см. там же, второй том.

наполеоновский правящий слой нотаблей, освобожденный от цензовых барьеров и базирующийся на образовании, достижениях и связях.²¹

К этим, более ранним результатам исследований, в ходе «культурно-исторического поворота» в течение последних десятилетий добавились новые соображения о трансформации менталитета в среднесрочной перспективе. Так, Мишель Вовеле в своей пионерной работе о надгробных надписях демонстрирует, что мировоззрение и мировосприятие начали изменяться уже во времена *Ancien régime* с середины XIX-го века, в то время как религия и учение церкви утрачивали свое влияние в качестве компаса индивидуального мышления и деяний, уступая свое место усиливающейся секуляризации.²² Исследования Роберта Дарнтон, посвященные популярной литературе и ее грубоватой критике представителей *Ancien Régime*, расточительства и любовных похождений Марии-Антуанетты или лицемерия церкви, аналогичным образом доказали, что абсолютная монархия к тому времени давно уже утратила свой сакральный характер и была на грани потери своей легитимности. А в новейшее время Линн Хант и Роланд Шартье в своих широко известных исследованиях дополнили это изменение перспективы, и таким образом почти сложилось впечатление, что французская революция была только звеном в длинной цепи скорее эволюционных культурных перемен.²³

Если этот вопрос о соотношении преемственности и разрыва переносить на Россию, то прежде всего следует видеть разницу между двумя революциями 1917 г.

Что касается февральской революции, то ее связь с империей очевидна: почти без исключения новое правительство было составлено из ведущих депутатов Думы и членов думского «прогрессивного блока». Почти в соответствии с марксистской догмой новая политическая элита выросла в лоне старого строя, строя, который уже ранее должен был дать свое согласие на введение парламента, создав тем самым трибуну для политических дискуссий, находившуюся в центре общественного

²¹ Краткие выводы и литературу см: *Elisabeth Fehrenbach, Vom Ancien régime zum Wiener Kongress*. 4. Aufl. München 2001, S. 40f.

²² *Michel Vovelle, Die Französische Revolution. Soziale Bewegung und Umbruch der Mentalitäten*. Frankfurt 1985.

²³ См. в частности: *Robert Darnton, Poesie und Polizei: öffentliche Meinung und Kommunikationsnetzwerke im Paris des 18. Jahrhunderts*. Frankfurt a. M. 2002; *Он же: Das große Katzenmassaker : Streifzüge durch die französische Kultur vor der Revolution*. München 1989; *Roger Chartier, Die kulturellen Ursprünge der Französischen Revolution*. Frankfurt a. M., New York, Paris 1995; *Lynn Hunt, Politics, Culture, and Class in the French Revolution*. Berkeley 1986.

внимания. Но либеральные политики еще оставались на расстоянии от власти. Таким образом, в феврале 1917 г. произошла значительная смена элит, но новой правящую элиту не назовешь. Либералы в земствах и муниципалитетах уже фактически взяли под свой контроль обширные области внутреннего управления и политической жизни в провинции, так как государство все более и более демонстрировало свою неспособность справиться с проблемами, которые принесла с собой мировая война.²⁴

Но не так однозначен ответ на вопрос о преемственности в отношении второго столпа революции – советов и умеренных революционных партий. В том числе т.н. «правые» меньшевики и эсеры, даже те, кто поддерживал войну против немцев и кайзера, конечно же находились вонне старого режима. Они принадлежали не только к политической оппозиции, но и к тому контрбоществу, которое выступало защитником париев, рабочих и крестьян. Но в то же время они уже вступили на путь, по которому немецкая социал-демократия продвинулась к тому времени так далеко. Это произошло под воздействием войны и вызванной ею необходимостью организовать военную промышленность с участием представителей рабочих. Конечно же военно-промышленные комитеты не получили того значения, которое могло бы сравниться с парламентской и социально-институциональной интеграцией немецкой социал-демократии. И все же можно предположить, что и они поддерживали прагматический и ответственный курс, поскольку могли исходить из того, что либерально-оппозиционное «общество» в окружении Земгора (Союза земств и городов) и без того уже было готово отнять власть у побежденного самодержавного государства.²⁵

Намного труднее дать ответ на вопрос, означала ли февральская революция приход к власти новой социальной и экономической элиты. Как известно, Временное правительство находилось у власти менее восьми месяцев, пока не было свергнуто. Все это время в экономике царил хаос, и новое общество по ту сторону декларированного формально-правового равенства, общество, которое имело бы шанс выстроить свою иерархию престижа и свою систему ценностей, еще не смогло сформироваться. Но совершенно очевидно, что старые высшие круги существенно теряли в весе.

²⁴ См. *R. Pearson*, *The Russian Moderates and the Crisis of Tsarism 1914-1917*. London 1977; *H. Gross*, *Selbstverwaltung und Staatskrise in Rußland 1914-1917. Macht und Ohnmacht von Adel und Bourgeoisie am Vorabend der Februarrevolution // Forschungen zur osteuropäischen Geschichte 28 (1981), S. 205-381*; *W. G. Rosenberg*, *Liberals in the Russian Revolution*. Princeton 1974.

²⁵ *L. Siegelbaum*, *The Politics of Industrial Mobilization 1914- 1917. A Study of the War-Industry Committees*. London 1983; *G. Swain*, *Russian Social Democracy and the Legal Labour Movement 1906-1914*. London 1983.

Аристократия еще не вынуждена была эмигрировать, она вероятно могла обладать в деревне зачастую также более серьезным фактическим влиянием, чем это было ей формально предоставлено, но она уже была приперта к стене. Вполне вероятно, что был начат процесс, похожий на развитие событий в Веймарской республике: аристократия сохранилась и не утратила своей характерной особенности, а именно «искусства оставаться наверху». Но она лишилась не только своего политического влияния, но и своих ведущих социальных и культурных функций.²⁶

Последствия большевистского переворота октября 1917 г. были совсем иными. Типологическое сравнение из долговременной перспективы позволяет рассматривать то, что когда-то прославлялось как «триумфальное шествие» социалистических целевых установок, скорее как вторую, радикальную фазу революции, по аналогии со второй фазой французской революции, с которой, как известно, русские революционеры сами себя постоянно сравнивали. Без сомнения, «диктатура пролетариата» также безжалостно выступала против своих врагов, как и гильотина Робеспьера в 1792 – 1794 гг. Большевики и якобинцы были братьями по духу, они хотели последовательной и «чистой» революции, которая очистит земной шар от всех «паразитов», как гласила надпись на одном из самых известных плакатов, вместо того чтобы прагматически договариваться с инакомыслящими или даже с противниками. Хотя крестьянские восстания 1920-1921 гг. и вынудили их к компромиссу в форме нэпа, последний из сегодняшней перспективы представляется скорее как передышка, чем среднесрочная или даже краткосрочная стратегия. В любом случае остается вне сомнения, что только идеология, а не какая-либо иная необходимость, сыграла решающую роль в принятии фатального решения отказаться в 1929 г. от этого компромисса и завершить «полу-революцию», остававшуюся на уровне двадцать первого года.

Совершенно очевидно, что такой радикальный переворот, который в обычном историческом смысле суммировался вместе с последующей гражданской войной в революцию, более остро вошел в конфликт со старым режимом. Его воля к обновлению затронула *все* сферы исторической действительности. Но он направлялся не только

²⁶ См. *Rudolf Braun*, *Konzeptionelle Bemerkungen zum Obenbleiben: Adel im 19. Jahrhundert // Hans-Ulrich Wehler* (Hg.), *Europäischer Adel 1750-1950*. Göttingen 1990, S. 97-95. История дворянства в годы революции (и после них) остается «белым пятном» на географической карте исторических исследований России.

«утопией чистки», как это было метко сформулировано²⁷, но и весьма определенными, хотя и не очень конкретными представлениями о том, что должно прийти на место старого. Именно они составили ядро социалистической идеологии, ставшей монополевой государственной доктриной.

Из этой радикальности переворота как само собой разумеющееся вытекала основательная смена политической элиты, предпринятая новыми властителями. В отличие от февраля, теперь ни один мало-мальски влиятельный политик из старого правительства не занимал места в новом или в одном из его органов. Напротив, старые министры были арестованы, ведущие деятели либерального движения должны были спасаться бегством, а с началом гражданской войны весной 1918 г. были также запрещены другие революционные партии. У рычагов власти теперь встали революционеры, вернувшиеся из-за границы и настоящие *homines novi* из внутриросийского подполья.

Полностью новой была, разумеется, также социальная пирамида, все четче и четче принимавшая свой облик. Из общества исчезла – теперь большей частью физически в результате эмиграции, изгнания или уничтожения – не только аристократия. Также новый экономический и просвещенный буржуазный слой, открывший дорогу февралю, был низложен, или преследовался, или бежал к «белым», или все вместе. Новый режим программно понимал себя как авангард низших слоев и в первое десятилетие активно их поддерживал. Вне сомнения, никогда еще двери не были открыты так широко для выдвижения рабочих и крестьян. Во время гражданской войны шлюзом социальной мобильности прежде всего стала Красная Армия; в целом не только партия, но и множество других квази-государственных организаций обеспечивали невиданные ранее карьерные возможности. К этому процессу уже достаточно рано стало относиться также формирование нового слоя, чьей «профессией» было отправление бюрократических функций. Представители этого слоя определялись ни через обладание материальными благами или их отсутствие, ни через определенный статус в иерархии производства, ни через их первичное укоренение в городе или деревне, ни через определенную физическую или умственную квалификацию. Их главным отличительным признаком была принадлежность к аппарату, который делегировал им руководящие и директивные полномочия: участие в монополии на власть, которую партия присвоила себе, используя в своих целях

²⁷ G. Koenen, *Utopie der Säuberung. Was war der Kommunismus?* Berlin 1998

государство, социальные союзы, а с 1928 г. и хозяйственные организации, стало решающим критерием социального статуса. Класс бюрократии заменил собой производящие и рыночные классы²⁸. Новый властный и социальный порядок, который обозначают как *monoorganizational society*²⁹, породил свои собственные связи и страты, которым однако не хватало двух движущих сил: плюрализма и рынка.

Наконец, не требует особых объяснений то, что ценности, мораль и духовная культура также подлежали радикальной трансформации. В первую очередь именно вторая фаза русской революции открыла двери широкой палитре культурно-революционных течений, от эстетического авангарда до богемы. Футуризм, супрематизм, конструктивизм, массовый спектакль, агитационный театр, социальная и сексуальная эмансипация женщин, новые представления о семье и браке, рост эффективности рабочей деятельности и времяпрепровождения, идея о новом человеке и другие порождения потрясенного кризисом модерна нашли свой путь в Россию³⁰. Насколько глубоко они внедрились в повседневность, достигли ли когда-нибудь эти течения границ традиционных деревенских миров, останется здесь без ответа. Имеет значение только тот несомненный факт, что старая иерархия ценностей оказалась поставлена с ног на голову. Только сталинизм 1930-х годов, с какими бы то ни было модификациями, вернулся к консервативным идеалам, к авторитету, семье и нации³¹.

И все же: хотя октябрьский переворот и гражданская война означали как политический, так и социальный, экономический и культурный разрыв с прошлым, хотя они и осуществили идею радикальной революции так глубоко, как ни одно сравнимое по масштабам событие до них, а после них - по крайней мере только китайская революция, – в «русском» случае также с самого начала присутствовали

²⁸ См. *S. Fitzpatrick*, *Ascribing Class: The Construction of Social Identity in Soviet Russia*, in: *Journal of Modern History* 65 (1993), S. 745-770.

²⁹ См. *T. H. Rigby*, *Stalinism and the Mono-Organizational Society* // R. C. Tucker (Hg.), *Stalinism: Essays in Historical Interpretation*. New York 1977, S. 53-76; *Он же*: *The Changing Soviet System. Mono-organisational Socialism from its Origins to Gorbachev's Restructuring*. Hants 1990.

³⁰ См. *R. Stites*, *Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. New York 1989; *K. Schlögel*, *Jenseits des Großen Oktober. Das Laboratorium der Moderne: Petersburg 1909-1921*. Berlin 1988; *S. Plaggenborg*, *Revolutionskultur. Menschenbilder und kulturelle Praxis in Sowjetrußland zwischen Oktoberrevolution und Stalinismus*. Köln 1996.

³¹ К дискуссии см.: *D. L. Hoffmann*, *Was there a "Great Retreat" from Soviet Socialism? Stalinist Cultural Reconsidered* // *Kritika* 5 (2004), S. 651-675, а также остальные приведенные статьи; *D. L. Hoffmann*, *Stalinist values. The cultural norms of Soviet modernity, 1917-1941*. Ithaca 2003.

сильные аргументы в пользу значительной преемственности. В первую очередь они касались трех тенденций.

(1) Во-первых, скоро стало бросаться в глаза то, что новые хозяева после 1921 г. распространили свою власть примерно на ту же самую территорию, что и старые. За исключением Финляндии, прибалтийских республик, Бессарабии и ряда областей западных русских губерний, утраченных в результате советско-польской войны 1920 г., Красная Армия снова стояла на страже земель, которые были завоеваны царской Россией, начиная с XVII в. и прежде всего – в XIX в. Так как формальность равноправия федеративных республик в составе Советского Союза была очевидна с самого начала, трезвые наблюдатели и, тем более, критики нового режима делали примечательный вывод, согласно которому самозваная советская власть органично продолжала власть империалистическую. Из этой перспективы новые господа оставались старыми³².

(2) Во-вторых, с не меньшей быстротой обнаружилось, что новая власть, начиная самое позднее с момента запрета не только либеральной кадетской, но и других социалистических партий, стала диктатурой одной единственной партии. В свою очередь эта партия изначально строилась по жесткому централистскому принципу. Как известно, Ленин с самого начала занял выдающуюся позицию, легитимация которой путем демократических выборов была пустой формальностью, поскольку отстранение Ленина от власти путем перевыборов было немислимым. После победы в октябре 1917 г. основатель нового государства окончательно утвердился на посту, который придал его власти фактически самодержавный характер. Более позднее, адресованное Сталину высказывание о красном царе, определенно хромало в отношении приписываемой преемственности, но в одном оно верно отражало сущность проблемы: отсутствие какого-либо эффективного демократического контроля как внутри, так и вне партии. И даже более, Mon-Archie, т.е. единоличное господство, настолько отчетливей стало выступать вперед, насколько широко в результате октябрьского переворота и гражданской войны в регионах были уничтожены зачатки гражданского общества.

(3) В конце концов, ретроспективный взгляд с более длинной дистанции, самое позднее с момента так называемой сталинской «революции сверху» 1929-1930 гг.,

³² Классическое изложение: *R. Pipes, The Formation of the Soviet Union. Cambridge/Mass. 1964*

очевиднее выявил то, что новый режим также перенял главные экономико-политические цели царской России последних десятилетий: индустриализацию и модернизацию. Как известно, Советский Союз снова достиг в 1927 г. уровня производства 1913 г. Вслед за этим, с помощью новых насильственных методов и колоссального использования ресурсов, был начат новый этап. Форсированная сталинская индустриализация продолжила то, что в свое время начал Витте.

К этим известным аспектам исторической неразрывности, сохранившейся в обход цезуры 1917 г., новые исследования теперь добавляют еще один: склонность или манию современного государства не только изучать свое собственное население, но и формировать его по своему усмотрению³³. Но это *longue durée* угнездились в другой сфере. Непрерывность централистско-самодержавного господства подразумевает наследование *русской* политической культуры, возникновение которой некоторые исследователи датируют временами расцвета Великого княжества Московского. Равным образом в основе индустриализации лежала программа действий, вытекавшая из истории страны, из имевшихся специфических предпосылок. В противоположность этому тезис о глубоко укоренившейся, имманентной природе насилия современного государства делает акцент на идентичности *единого* процесса в России и Европе. Такая неразрывность берет свое начало не в особенных специфических условиях отдельной страны, но вытекает в целом из амбивалентности³⁴ модерна. Единовластие, диктатура, насилие и террор в довоенном Советском Союзе не являются ни русским наследством, ни своеобразием и эксцессом облачившейся в социалистические одежды попытки в короткий срок догнать Запад. Органичную пару составляют не насилие и отсталость, а насилие и современная государственность. Непрерывность заключается не в отклонении от генерального развития, но в *участии* в нем. «Государство как садовник»³⁵ – как гласит часто цитируемая метафора – возникло во времена европейского Просвещения, когда политика и разум соединились, чтобы наметить

³³ См. в частности: *Peter Holquist, State Violence as Technique: The Logic of Violence in Soviet Totalitarianism // David L. Hoffmann, Stalinism. The Essential Readings. Oxford 2003, 129-156; Он же: To Count, to Extract, and to Exterminate: Population Statistics and Population Politics in Late Imperial Russia // R. G. Suny, T. Martin (Hg.), A State of Nations. Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin. Oxford 2000, S. 111-144; к общей дискуссии: Stefan Plaggenborg, Experiment Moderne. Der sowjetische Weg. Frankfurt/New York 2006.*

³⁴ Амбивалентность – здесь в смысле двойственность, неопределенность (прим. переводчика).

³⁵ *Amir Weiner (Hg.), Landscaping the Human Garden. Stanford 2003; позаимствовано у: Z. Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit. Hamburg 1992.*

развитие общества и государства по критериям последнего, чтобы описывать общество научно-статистически и формировать его на этой основе. Государство поддерживало то, что ему казалось рациональным, и выпалывало то, что считало сорняками. Когда в XX столетии такое государство попало в руки идеологов, в его распоряжении уже имелись средства принуждения, чтобы сформировать «тело народа» в соответствии с идеологическими нормами – и истребить или изолировать миллионы, принадлежащие к чужой расе или чуждому социальному классу. Тоталитарное господство стало продуктом гипертрофированного здравого смысла и потенциала принуждения государства, увеличивавшегося по экспоненте благодаря в равной степени современной технике и бюрократической эффективности.

Даже если отвергать приравнивание красного террора к коричневому, которое присуще любым сравнениям в скрытой форме³⁶ – этот тезис вполне в силах выявить дальнейшие аспекты континуитета. Петер Холквист и другие убедительно проследили преемственность многих соответствующих мероприятий нового советского государства, таких как учет населения, равно как и слежку за ним органов тайной полиции, вплоть до поздней царской эпохи. Без сомнения, современное государство, которое научилось эффективно использовать свои ресурсы, которое ведет фискальный учет своего населения, повышает с помощью системы народного образования его квалификацию, мобилизует его психически, ментально, поддерживает свою экономику и способствует техническому прогрессу, которое все это рационально планирует и задействует все увеличивающуюся научную компетентность – такое государство без сомнения располагает серьезно увеличившимся потенциалом отправления контроля и насилия. Только современное государство в силах сделать качественный шаг от диктатуры к тоталитаризму. Уже на заре своей истории Советский Союз использовал многие из этих средств для управления и контроля, хотя еще не так эффективно и полноценно, как при Сталине.

Все это кажется мне правильным в новейших рассуждениях о преемственности взаимосвязи государственности и модерна. Только два включения, по моему мнению, ошибочны:

³⁶ В завершение: *Ulrich Herbert, National Socialist and Stalinist Rule: The Possibilities and Limits of Comparison // Manfred Hildermeier (Hg.), Historical Concepts between Eastern and Western Europe. New York 2007, S. 5-22.*

Во-первых, совсем не следует, что эта интерпретация не уживается с устоявшимся представлением об отсталости России. Напротив: государство, к главным программным намерениям которого с момента возникновения относилось стремление ликвидировать в короткое время остро ощущаемый дефицит экономических новшеств и материального уровня жизни (под лозунгом социализма), уже поэтому в особенной степени было подвержено искушению использовать для достижения поставленной цели новые средства контроля и принуждения, которыми оно уже располагало.

Во вторых, тезис об «амбивалентности модерна» отнюдь не столь нов, как его представляют. Напротив, ряд родственных рассуждений, от Фридриха Ницше через Макса Вебера и Вальтера Бенямина до Теодора В. Адорно и Юргена Хабермаса, скорее длинен, чем короток. Протагонистам подобных рассуждений лучше не скрывать этого. Тогда стало бы (более) очевидно, что подобные утверждения о континуитете, исторической непрерывности бытуют в пограничной области между научно-историческим анализом и философским мировоззрением – и связь между ними также тяжело разорвать, как и диалектично-комплементарную связь между преемственностью и разрывом.

Бернд Фауленбах

Перелом 1945–1949 гг. как веха и ключевой момент немецкой и европейской истории

1945 г. по праву считается решающей вехой в немецкой и европейской истории XX столетия.³⁷ Если рассматривать 1945–1949 гг. как время перелома, то итоги Второй мировой войны необходимо видеть в контексте формирования послевоенного порядка. События раннего послевоенного времени определялись, с одной стороны, последствиями недавно окончившейся тотальной войны, с другой стороны – начавшимися политическими процессами, которые привели к складыванию нового положения дел в Центральной Европе и Европе в целом, оказавшего, в свою очередь, широкое воздействие на ее внутреннее устройство.

В 1945–1949 гг. в результате событий военного и послевоенного времени политическая карта Европы изменилась коренным образом. Германия сначала исчезла с нее как фактор силы и началась формироваться биполярная структура, разрывающая Германию на две части. Территориальные и политические изменения не ограничились одной Германией. Речь идет о многогранных, протекавших не обязательно одновременно, связанных друг с другом процессах.

В следующих рассуждениях, имеющих очерковый характер и тематизирующих взаимное воздействие международного развития и политико-общественных и культурных процессов, главенствует немецкая перспектива, тем не менее также присутствует и европейский контекст. Особое внимание уделено генезису немецкого и европейского раскола и его стабильности, что подразумевает вопрос, в какой степени курс, заданный в 1945–1949 гг., был исправлен в 1989–1991 гг.

I) Мнимый конец немецкой государственности и его последствия

Послевоенный порядок был подготовлен на Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Сферы влияния были поделены, территориальные изменения – намечены. Также были достигнуты договоренности о том, как следует обойтись с Германией. Союзники хотели совместно управлять Германией как единым целым, совместно ее денацифицировать, демилитаризировать, демократизировать и декартелизовать – что бы там на самом деле они не подразумевали под этим.

„Год 1945“ стал символом полного покорения Германии, которая стремилась к гегемонии в Европе и пыталась достичь своей цели посредством страшной войны, в Восточной

³⁷ См.: Deutsche Umbrüche im 20. Jahrhundert : Tagungsbeiträge eines Symposiums der Alexander von Humboldt-Stiftung Bonn-Bad Godesberg, veranstaltet vom 14.–18. März 1999 in Bamberg / D. Papenfuß, W. Schieder (Hrsg.). Köln u.a., 2000, в особенности S. 347 и далее.

Европе – завоевательной и истребительной, бумерангом ударившей по самой Германии.³⁸ Германия была завоевана и оккупирована союзниками, утратила свой государственный суверенитет, подверглась разделению на зоны оккупации, а Пруссия, которая расценивалась союзниками как ядро Германии, была ликвидирована решением Контрольного совета. «Немецкая катастрофа» казалась всеобъемлющей.³⁹

На самом деле эти годы знаменовали собой не конец немецкой государственности, а начало ее трансформации, по существу обусловленной полярностью союзной политики. Эта трансформация – образование двух немецких государств с различным строем – первоначально казалась временной мерой как немцам, так очевидно и союзникам, хотя разделение Германии уже рассматривалось ранее как один из вариантов дальнейшего развития.

Виртуально национальное государство продолжало существовать, в особенности на западногерманской, а поначалу – и на восточногерманской стороне. Тем не менее в 1945–1949 гг. был задан курс на построение структуры, которая просуществовала десятилетия и демонстрировала поразительную стабильность. Конечно же, ни одна из сторон последовательно не стремилась к разделению Германии на два государства. Но когда это стало фактом, как западные державы, так и Советский Союз, а также другие европейские страны не только научились мириться с ним, но и осознали его преимущества, не в последнюю очередь – для решения проблемы «немецкой угрозы».

Ирония истории заключается в том, что постепенное стирание виртуальной национальной государственности в Германии способствовало, начиная с 1970-х годов, эрозии двойной государственности, а переворот в одном из двух государств, в ГДР, сделал возможным возвращение к национальному государству. Воссоединение было достигнуто в 1989–1990 гг., являясь к тому моменту по сути всего лишь абстрактной целью немецкой политики. При этом равным образом сыграли роль как действия народных масс, так и политика государственных деятелей ФРГ, США и СССР. Возникло – если следовать формулировке Генриха Августа Винклера⁴⁰ – «постклассическое» национальное государство, которое разнообразными способами интегрировано в международные организации и пронизано транснациональными процессами. Это означает, что воссоединение двух немецких государств ни в коем случае не

³⁸ Людвиг Дейо (Ludwig Dehio) интерпретировал в 1948 г. Вторую мировую войну как последнюю европейскую войну за достижение гегемонии, которая в решающей степени способствовала взлету двух мировых супердержав – США и СССР. См.: *Dehio L. Gleichgewicht oder Hegemonie: Betrachtungen über ein Grundproblem der neueren Staatengeschichte*. Krefeld, 1948.

³⁹ Понятие «немецкая катастрофа» ввел Ф. Майнеке, который исследовал в своем большом послевоенном эссе ее глубинные причины. См.: *Meinecke F. Die deutsche Katastrophe*. Wiesbaden, 1946.

⁴⁰ *Winkler H.A. Der lange Weg nach Westen*. Bd. 2: *Deutsche Geschichte vom „Dritten Reich“ bis zur Wiedervereinigung*. München, 2000, S. 655.

аннулировало полностью перелом 1945–1949 гг. Германия не вернулась к традиции национального «особого пути».⁴¹

II) Подвижки границ и насильственные миграции

Результатом войны и последовавших за ней переноса границ и переселений было серьезное изменение географической карты Европы. Германия фактически утратила – в правовом отношении эти потери были окончательно санкционированы гораздо позднее – области по ту сторону Одера и Нейсе, ее территория сократилась более чем на четверть. Миллионы немцев потеряли свою родину, часть из них бежала, другие были изгнаны – в общей сложности около 15 млн. человек, при этом около 2 млн. человек – согласно данным Нормана Наймарка⁴² – погибли. Миллионы беженцев хлынули в почти полностью разрушенный «остаток» Германии, поделенный на зоны оккупации – это был, без сомнения, исторически весьма тяжелый процесс.

Изгнание немцев было частично легализовано, частично – инициировано союзными державами. Оно отвечало националистскому стремлению к созданию гомогенных национальных государств, было в значительной мере – в отношении немцев – реакцией на немецкую завоевательную, оккупационную, переселенческую политику и политику уничтожения, нашедшую свое воплощение в генеральном плане «Ост», но также вытекало из политических расчетов союзников, в особенности – Сталина.

Насильственное переселение не было ограничено только немцами. На Запад оказались «подвинуты» поляки. Массовые депортации, такие как в странах Прибалтики, сломали сопротивление населения включению в состав Советского Союза и, соответственно, в советскую зону влияния. Во всей Восточной Европе в эти годы беспримерным образом осуществлялись «этнические чистки» и трансфер населения, что как правило было связано для пострадавших людей с неизмеримыми страданиями.⁴³

Всего в XX веке в Европе были насильственно переселены или подверглись депортации более 50 млн. человек. Один из кульминационных пунктов такого рода акций, затронувших не только немцев (которые тем не менее образовали самую большую группу) пришелся на переломный период 1945–1949 гг. Изучение этих насильственных переселений без сомнения является важной задачей, справиться с которой по плечу только международному сообществу ученых. То же самое справедливо для темы репатриации тысяч перемещенных лиц (“displaced

⁴¹ См.: *Faulenbach B.* Überwindung des „deutschen Sonderwegs“?: Zur politischen Kultur der Deutschen seit dem Zweiten Weltkrieg // *Aus Politik und Zeitgeschichte* 1998. H. 51. S. 11–23.

⁴² См.: *Naimark N.M.* Flammender Hass: Ethnische Säuberung im 20. Jahrhundert. München, 2004; *Naimark N.M.* Europäische Geschichte im 20. Jahrhundert und die Problematik eines deutschen „Zentrums gegen Vertreibungen“ // *Zwangsmigration in Europa: Zur wissenschaftlichen und politischen Auseinandersetzung um die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten* / B. Faulenbach, A. Helle (Hrsg.). Essen, 2005, S. 19–29.

⁴³ См. по этому поводу: *Judt T.* Geschichte Europas von 1945 bis zur Gegenwart. München u.a., 2006. S. 39 и далее.

persons“), которые отнюдь не все стремились вернуться на родину и со многими из которых после репатриации также очень плохо обращались.⁴⁴

То, что насильственные перемещения населения могут иметь долговременный характер, не хотели сначала признавать многие современники, в особенности те, кто утратил свою родину, но потом они должны были с этим смириться. При этом интеграционные процессы были успешны в разной мере. Интеграция миллионов немецких беженцев и «изгнанных с родины» ни в коем случае не была беспроблемной в послевоенной Германии, но с некоторым правом может расцениваться как «история успеха», в особенности в ФРГ.

Ш) Формирование советской зоны влияния и стойкий интерес США к Европе

Победа Советского Союза над национал-социалистической Германией и ее союзниками усилила – несмотря на чудовищные жертвы, которые заплатили за нее народы СССР – позиции советского государства во многих отношениях. Повсюду в мире вырос авторитет СССР и коммунистического движения, ориентировавшегося на Москву и серьезно пострадавшего в конце 1930-х годов в результате сталинских чисток.⁴⁵ Но прежде всего Советский Союз получил в свое распоряжение огромную зону влияния и вскоре стал превращаться – несмотря на колоссальные разрушения во время войны – во вторую мировую супердержаву.

В результате войны зона господства Советского Союза стала простираться вплоть до Центральной Европы, и руководство СССР предприняло в 1945–1949 гг. ряд действий, целью которых было не только защитить эту зону от конкурентов в военно-политическом отношении, но и добиться осуществления идеологических целей. Соображения политической безопасности конечно же играли важную роль – Советский Союз стремился создать некое подобие «санитарного кордона» („cordon sanitaire“), выдвинутого на Запад. Тем не менее буржуазно-демократические политические режимы, которые якобы были первоначальной целью – речь шла о завершении буржуазных революций 1848 г. – очень скоро стали расцениваться «устаревшими». Вслед за фазой особого национального пути к социализму были созданы – с некоторыми отдельными различиями – государства-сателлиты со сталинскими политическими системами. Процесс их создания был связан с зачастую бесцеремонным вмешательством советской политики и «союзных» коммунистических партий в свободное политическое волеизъявление народов.⁴⁶

С точки зрения Запада, тем более немцев в Западной Германии, образ действия Советского Союза был агрессивным и в то же время тоталитарным. Установление

⁴⁴ Ср.: *Hildermeier M.* Geschichte der Sowjetunion 1917–1991: Entstehung und Niedergang des ersten sozialistischen Staates. München, 1998. S. 685–686.

⁴⁵ См. об этом: *Hobsbawm E.J.* Das Zeitalter der Extreme: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München, 1995. S. 213 и далее; *Furet F.* Das Ende der Illusion: Der Kommunismus im 20. Jahrhundert. München u.a., 1995. S. 499 и далее.

⁴⁶ Сравни: *Judt T.* Geschichte Europas. S. 143 и далее.

коммунистического господства в Праге в 1948 г., а также экспорт коммунистической политики в Грецию, что имело своим последствием гражданскую войну, привлекли к себе особенное внимание Запада. Блокада Западного Берлина также стала одним из катализаторов поляризации.

Это развитие привело на Западе к политике сдерживания (“Containment”) или, соответственно, стратегии оттеснения (“Roll-Back”) в отношении Советского Союза. В Западной Европе росло, в том числе из-за военного истощения ведущих западноевропейских стран, американское влияние, выразителем которого стал план Маршалла, а также американская оккупационная политика в Западной Германии, заключавшаяся в том числе в блокировании мероприятий по социализации экономики. В отличие от времени после Первой мировой войны интерес США к Европе продолжал сохраняться также и в последующем. Значительную роль сыграло образование в 1950-е годы (Западно)европейских сообществ.

В свою очередь в Восточной Европе Советский Союз вскоре стал выступать протектором против «немецкого реваншизма», защитником новых границ и гарантом новых общественно-политических отношений, благодаря чему он смог в некоторой степени привязать к себе эти страны и их политические режимы еще крепче. Доминантную роль при этом играл силовой политический контекст, который однако вскоре получил дополнительную идеологическую надстройку. Отличия этой имперской структуры от Западной Европы были очевидными, несмотря на то, что та в свою очередь была зависима от США. Хотя США пытались стабилизировать западноевропейские страны, в том числе и Западную Германию, а также сделать их идеологически невосприимчивыми к коммунизму, они не осуществляли непосредственно политическое господство, как это делал Советский Союз.⁴⁷

IV) Путь к диктатуре Социалистической единой партии Германии (СЕПГ)

Что касается преодоления нацистского господства и последствий войны, то этим процессом были затронуты все оккупационные зоны Германии, но он проводился в них различным образом. Антифашистские группы нигде не смогли сыграть самостоятельной роли, их деятельность вскоре была направлена в определенное русло союзниками, административной властью, а также партиями.⁴⁸ Структурные реформы были проведены сверху. И хотя советская политика сначала протекала по двум направлениям, то есть была нацеленной не только на свою зону оккупации, но и на Германию в целом, вскоре были осуществлены меры, последствием которых стало политическое отделение советской зоны оккупации от западных зон.

⁴⁷ См. об этом: *Amerikanisierung und Sowjetisierung in Deutschland 1945–1970* / К. Jarausch, Н. Siegrist (Hrsg.). Frankfurt u.a., 1997. О поддержке США интеллектуальной антикоммунистической позиции см.: *Hochgeschwender M. Freiheit in der Offensive?: Der Kongress für kulturelle Freiheit und die Deutschen.* München, 1998.

⁴⁸ См.: *Arbeiterinitiative 1945: Antifaschistische Ausschüsse und Reorganisation der Arbeiterbewegung in Deutschland* / L. Niethammer u.a. (Hrsg.). Wuppertal, 1976; *Kleßmann Ch. Die doppelte Staatsgründung: Deutsche Geschichte 1945–1955.* Bonn, 1982. S. 121 и далее.

В 1945 г. Вальтер Ульбрихт объяснял товарищам по партии: «Это должно выглядеть демократически, однако мы все должны держать в своих руках».⁴⁹ Данная максима адекватно характеризует образ действий КПП. Первая серьезная смена курса – объединение СДПГ и КПП в СЕПГ – была предпринята уже в 1945–46 гг. И хотя эта акция учитывала определенные тенденции в рабочем движении, но проведена она была с помощью насилия и обмана.⁵⁰ Начавшееся с этого момента развитие СЕПГ пережило различные фазы: быстрая смена руководящих органов партии, которые вначале для вида были сформированы на паритетных основах, построение партии нового типа с соответствующей кадровой политикой, образование Национального фронта, создание диктаторской системы, которая не чуралась применения массированных репрессий и т.д.⁵¹ То, что политика западных союзников в подконтрольных им зонах оккупации благоприятствовала такому развитию, не вызывает сомнения. Напротив, что касается оценки, согласно которой такое развитие осуществлялось против воли Сталина, то она менее обоснована.⁵²

Роль Советского Союза в советской зоне оккупации в 1945–1949 гг. была спорной. Так, процесс образования собственного государства был отягощен советской репарационной политикой, хотя исходная ситуация на Востоке – в том, что касается разрушений – была скорее более благоприятной, чем на Западе. Противоречивыми были в своей массе также действия Советской военной администрации в Германии (СВАГ), которая, с одной стороны, должна была привлечь немцев на свою сторону, но, с другой стороны, подвергала их насильственным мерам.⁵³

Можно выделить ряд различных этапов в процессе развития советской зоны оккупации. За фазой антифашистско-демократических преобразований последовало установление социалистической диктатуры, хотя при этом был сохранен фасад демократического государства (с множеством политических партий). Если рассматривать процесс в целом, то советская модель диктатуры, которая интерпретируется некоторыми исследователями как «развивающаяся диктатура»⁵⁴, была перенесена на советскую зону оккупации, то есть на

⁴⁹ Leonhard W. Die Revolution entlässt ihre Kinder. Köln; Berlin, 1955. S. 358.

⁵⁰ См.: Bouvier B. Ausgeschaltet!: Sozialdemokraten in der Sowjetischen Besatzungszone und in der DDR 1945–1953. Bonn, 1996; Sozialdemokraten und Kommunisten nach Nationalsozialismus und Krieg: Zur historischen Einordnung der Zwangsvereinigung / B. Faulenbach, H. Potthoff (Hrsg.). Essen, 1998.

⁵¹ Hurwitz H. Die Stalinisierung der SED: Zum Verlust von Freiräumen und sozialdemokratischer Identität in den Vorständen 1946–1949. Opladen, 1997; Malycha A. Die SED: Geschichte ihrer Stalinisierung 1946–1953. Paderborn u.a., 2000.

⁵² Так гласит тезис Уилфрида Лота. См.: Loth W. Stalins ungeliebtes Kind: Warum Moskau die DDR nicht wollte. Berlin, 1994.

⁵³ См. об этом: Foitzik J. Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) 1945–1949: Struktur und Funktion. Berlin, 1999; Naimark N.M. Die Russen in Deutschland: Die sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949. Berlin, 1997.

⁵⁴ Сравни: von Beyme K. Das sowjetische Modell – nachholende Modernisierung oder Sackgasse der Evolution? // Diktatur und Emanzipation: Zur russischen und deutschen Entwicklung 1917–1991 / B. Faulenbach, M. Stadelmaier (Hrsg.). Essen, 1993. S. 32–39; Eichwede W. Stalinismus und Modernisierung // Там же. S. 40–48; Hobsbawm E.J. Das Zeitalter der Extreme; Faulenbach B. Nur eine „Fußnote der Weltgeschichte“?: Die

промышленно развитое пространство. Политические и общественные структуры были при этом полностью перестроены, в особенности отношения собственности. Однако менталитет людей не должен безусловно меняться в условиях диктатуры; во всяком случае демократическое поведение ими не практиковалось. Позднее ГДР казалась некоторым наблюдателям наиболее «немецким» из двух немецких государств.⁵⁵ Разница в исходных установках на Востоке и Западе продолжает оказывать свое воздействие вплоть до настоящего дня, причем вопросы о масштабах и последствиях советизации до сих пор остаются без ответа. Необходимо принять во внимание тот факт, что еще задолго до 1945 г. – с XIX века – в Германии наблюдалось различие между Востоком и Западом.

Историко-политическое самовосприятие ГДР оказалось удивительным образом двойственным. С одной стороны, первое немецкое рабоче-крестьянское государство трактовало себя как отказ от предыдущей немецкой истории, как государство антифашистов, которое базируется на тесных отношениях с СССР. С другой стороны, оно считало себя не только наследником прогрессивных традиций, но и всей немецкой истории. «Наши немцы» – так выразился в 2007 г. Михаил Горбачев в кулуарах одного мероприятия в Бохуме – «внесли существенный вклад в уничтожение враждебности русских в отношении немцев».

Для политической системы во главе с СЕПГ Советский Союз выступал эталонным обществом. Тем не менее большинство населения ГДР постоянно обращало свои взгляды к Западу и даже частично внесло свой вклад, начиная с 1970-х годов – если выразиться несколько заостренно – в вестернизацию ФРГ в послевоенное время.⁵⁶

V) Образование западного немецкого государства

Война ослабила в Германии мощь воздействия старой социальной и моральной среды; немецкое «общество катастрофы» быстро развивалось в разных направлениях по обе стороны новых границ.⁵⁷ Радикальный перелом произошел и в западных зонах оккупации. Однако здесь наблюдалось больше преемственности в экономико-общественном секторе, чем в советской зоне оккупации. Кроме того, на Западе сохранилась капиталистическая форма экономики. Однако последняя подверглась изменениям в результате декартелизации и демонополизации (и связанного с этим введения рабочего контроля) и в несравненно большей

DDR im Kontext der Geschichte des 20. Jahrhunderts // Bilanz und Perspektiven der DDR-Forschung / R. Eppelmann, B. Faulenbach, U. Mählert (Hrsg.). Paderborn u.a., 2003. S. 1–23.

⁵⁵ См.: *Kocka J.* Ein deutscher Sonderweg: Überlegungen zur Sozialgeschichte der DDR // *Aus Politik und Zeitgeschichte* 1994. Н. 40. S. 34–45, повторно опубликовано в: *Kocka J.* Vereinigungskrise: Zur Geschichte der Gegenwart. Göttingen, 1995. S. 102–121.

⁵⁶ См.: *Leggewie C.* Go East! oder: Wie amerikanisch ist Ostdeutschland? // *Kursbuch* 141. Sept. 2000. S. 153–179.

⁵⁷ См.: *Kießmann Ch.* Die doppelte Staatsgründung: Deutsche Geschichte 1945–1955. Bonn, 1982. S. 37 и далее.

степени, чем ранее, несла на себе отпечаток международной экономической системы. Наряду с этим было модернизировано общество.⁵⁸

Политические управленческие элиты сменились также и в Западной Германии, чего не произошло в таком виде с общественными элитами. И все же в общем и в целом в западных зонах – в отличие от периода после Первой мировой войны⁵⁹ – не было оказано сопротивления введению демократических институтов, хотя и имелись предубеждения в отношении денацификации. Новые лидирующие политические группы в немецких землях и партиях сначала не стремились к созданию собственного западного государства, как это требовалось от них во Франкфуртских документах, врученных союзниками министрам-президентам земель. Но потом немцы воспользовались в Парламентском совете возможностью, сформировать государство в соответствии с собственными представлениями, причем свою роль сыграли национальные и европейские модели, а вмешательство оккупационных властей ограничилось редкими случаями. Результатом стало создание парламентской демократии западного типа, с подчеркнутой федералистской структурой и антитоталитарной направленностью конституции, которая была выражена в том числе в преамбуле, посвященной основным правам граждан, в системе разделения властей и масштабном исключении плебисцитарного волеизлияния. Тем самым в первую очередь была предпринята попытка восполнить слабость конституционной конструкции Веймарской республики, но при этом сохранить преемственность определенных структурных элементов, например традицию социального государства. В результате возникла «социальная рыночная экономика», в рамках которой капитализм был частично обуздан за счет «социальной государственности» и права профсоюзов участвовать в решении экономических вопросов («Рейнский капитализм»).

Можно отважиться высказать тезис, согласно которому именно разделение Германии в долгосрочной перспективе существенно облегчило демократизацию Западной Германии за счет ее отделения от Остэврии и соединения с Западом.⁶⁰ Политическая власть крупного землевладения в области действия конституции оказалась сведена к минимуму. На Востоке же – как необходимо отметить в скобках – власть юнкерства лишилась экономической основы, что однако не могло иметь здесь стойкого эффекта в смысле демократизации. Впрочем, разделение Германии также способствовало преодолению прусско-немецкого милитаризма. Ограниченная Западной Германией Федеративная республика в политико-культурном смысле все больше и больше носила на себе отпечаток Запада. Этот курс был задан в 1945–1949 гг.

⁵⁸ Ср.: *Modernisierung im Wiederaufbau: Die westdeutsche Gesellschaft der 50er Jahre* / A. Schildt, A. Sywottek (Hrsg.). Bonn, 1993.

⁵⁹ См.: *Sontheimer K. Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik: Die politischen Ideen des deutschen Nationalismus zwischen 1918 und 1933*. 2. Aufl. München, 1964; *Faulenbach B. Ideologie des deutschen Weges: Die deutsche Geschichte in der Historiographie zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus*. München, 1980.

⁶⁰ См.: *Kocka J. 1945: Neubeginn oder Restauration? // Wendepunkte deutscher Geschichte 1848–1945* / C. Stern, H. A. Winkler (Hrsg.). Frankfurt/M., 1979. S. 141–168, hier S. 155 и далее.

Несмотря на некоторую общественную «непрерывность» в Западной Германии, которая вскоре дала повод для возникновения тезиса о реставрации,⁶¹ 1945–1949 годы также знаменовали здесь коренной перелом, причем изменения прошли преимущественно за спинами людей, занятых решением тяжелейших проблем повседневного выживания. И тем не менее этот перелом – в том числе благодаря денежной реформе и созданию конституции – стал началом истории успеха. Радикальные общественно-политические изменения, начавшиеся в послевоенное время, оказались устойчивыми. Демократические институты, поддержанные экономическим подъемом («экономическое чудо»), очень быстро укрепились и в ходе длительного процесса, в котором важную фазу образовали поздние 1960-е и ранние 1970-е годы, начала складываться демократическая политическая культура. Столь много обсуждавшаяся «вестернизация» ФРГ связала воедино общественную модернизацию и культурную открытость и преодолела традиционные немецкие ориентировочные шаблоны.⁶² С этим был связан длительный процесс выяснения самовосприятия, который в особенности заключался в преимущественно критическом рассмотрении национал-социалистического прошлого и новейшей немецкой истории.⁶³

VI) Новая структура: разделенная Европа в биполярном мире

Если сначала казалось, что результатом Второй мировой войны является возникновение единого мира, который нашел свое проявление в ООН и других организациях, то очень скоро начала образовываться биполярная структура мира, в рамках которой Европа была разделена на две части и утратила свое влияние. Собственно разрыв пришелся на весну 1947 г. Дополнительным катализатором создания новой системы двух блоков стала, наряду с послевоенными событиями, война в Корее.

Блоковые структуры при этом имели амбивалентный характер, они выполняли не только внешнюю, но и внутреннюю функцию, которая не в последнюю очередь заключалась в контроле над Германией и решении задачи ее интеграции. Так, по словам первого секретаря Североатлантического альянса лорда Исмея, задача НАТО для европейцев состояла в том, чтобы держать США «внутри» Европы, немцев – «внизу», Советский Союз – «снаружи».⁶⁴ При создании Европейских сообществ идея интеграции немцев также сыграла важную роль.

⁶¹ См. сноску 24.

⁶² См.: *Doering-Manteuffel A.* Wie westlich sind die Deutschen?: Amerikanisierung und Westernisierung im 20. Jahrhundert. Göttingen, 1999; *Schildt A.* Ankunft im Westen: Ein Essay zur Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik. Frankfurt/M., 1999.

⁶³ См.: *Assmann A., Frevert U.* Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit: Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart, 1999; *Reichel P.* Vergangenheitsbewältigung in Deutschland: Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute. München, 2001; *Borosnjak A.* Erinnerung für Morgen: Deutschlands Umgang mit der NS-Vergangenheit aus der Sicht eines russischen Historikers. Gleichen; Zürich, 2006.

⁶⁴ Цит. по: *Soell H.* Helmut Schmidt. Bd. 1: 1918–1969: Vernunft und Leidenschaft. München, 2003. S. 351.

«Железный занавес» разделил Европу, как констатировал в 1947 г. Уинстон Черчилль. Оба немецких государства вскоре образовали острие двух враждебных по отношению друг к другу блоков. Соответствующим образом отношения обоих государств задавались политико-идеологическим и военным антагонизмом. Год 1945 знаменовался окончанием «немецкого особого пути», зато дальнейшее развитие в течение долгих лет носило на себе отпечаток «немецкого особого конфликта» между ГДР и ФРГ.⁶⁵

Потребовалось почти два десятилетия, пока отношения между двумя государствами не начали нормализоваться благодаря новой «Восточной политике» Вилли Брандта и «Восточным договорам». Постепенно в ходе трудоемкого процесса были выстроены отношения и смягчены идеологические противоречия. Если в первое послевоенное время развитие обоих государств протекало в разных направлениях, то с 1969 г., частично за спиной главных действующих лиц, начался процесс сближения. Не стоит забывать, что свою роль при этом сыграло изменение международного климата.

Сегодня европейское и немецкое разделение преодолено, как и биполярная мировая конструкция в целом. Она была заменена после 1989–1990 гг. сложным мультиполярным миром с доминированием одной супердержавы, а также со старыми и новыми центрами власти.

*

В общем и целом перелом 1945–1949 гг. был обусловлен наложением друг на друга различных процессов на основе подвижек власти в результате войны. Война и события 1945–1949 гг. изменили государственный и общественный порядок в Германии, а также в Европе таким коренным образом, что – также в результате стартовавших в это время процессов – речь может идти о длительном радикальном переломе, определившем линию развития всей послевоенной истории вплоть до 1989 г. Раздельное развитие однако позволило преодолеть некоторую специфику Германии, в том числе бытующее представление об особом пути между Востоком и Западом.

В 1989–1990 гг. положение дел снова изменилось коренным образом. Но это не повлекло за собой элиминирования всех парадигм послевоенного времени, напротив, некоторые из них укрепились окончательно, что свидетельствует о глубине перелома 1945–1949 гг. Так, никоим образом не были заново проведены все границы. И тем не менее Восточная Европа пережила новую фазу образования государств. Что касается Центральной Европы, то свое окончательное завершение получил новый «особый немецкий путь», который воплотился в существовании, начиная с 1945 г., двух государств, что без сомнения изменило

⁶⁵ См.: *Löwenthal R. Vom kalten Krieg zur Ostpolitik // Die zweite Republik: 25 Jahre Bundesrepublik Deutschland – eine Bilanz / R. Löwenthal, H.-P. Schwarz (Hrsg.). Stuttgart, 1974. S. 604–699; Winkler H.A. Der lange Weg nach Westen. S. 258.*

немецкую политическую культуру. Современная Германия выступает не только интегрированной частью Европы, но и сама выполняет в ней интегративную функцию.

Бианка Пиетров-Эннкер

Воспоминание и историческая память. Национал-социализм и сталинизм в сравнении

В данной статье рассматривается, во-первых, теоретический подход к теме культуры памяти, во-вторых, описываются два примера: воспоминание о национал-социализме в Германии и проблемы обращения с советским прошлым в Советском Союзе и, соответственно, в Российской Федерации. При этом особое внимание уделяется роли историков.

I. Теоретические предпосылки.

Исследования памяти имеют в университете Констанца прочные традиции, связанные в первую очередь с именами Алейды и Яна Ассманн, а также Бернхарда Гизена. Но в целом можно сказать, что конъюнктура исследований памяти очаровала всех нас, занимающихся гуманитарными и социальными науками. Это связано с тем, что эти науки трактуются в университете Констанца как культуроведение в широком смысле. Соответственно, нам удалось образовать междисциплинарные исследовательские группы: в 2000 г. возникла особая культурологическая область исследований, а в 2007 г. – элитный кластер в рамках программы поддержки элит федерального центра и федеральных земель, посвященный изучению культурного измерения общественной интеграции. Под интеграцией подразумевается в данном исследовательском контексте в общем и целом формирование образцов социальных правил, имеющих обязательный характер. Мы исходили из того, что построение социального порядка основывается на культурных ресурсах, которые порождают смысловые структуры и которые необходимо анализировать на конкретных примерах.⁶⁶ При этом история приобрела новое значение, а исторические исследования вышли за рамки своей непосредственной дисциплины и осуществляются преимущественно как междисциплинарные. В культурологической исследовательской концепции культура и история

⁶⁶ Norm und Symbol: Die kulturelle Dimension sozialer und politischer Integration: Antrag auf Einrichtung und Finanzierung eines Kulturwissenschaftlichen Forschungskollegs: Sonderforschungsbereich Nr. 1745. Konstanz, 1999. Problemaufriss, S. 1–17; Kulturelle Grundlagen von Integration: Antrag auf Einrichtung eines Exzellenzclusters im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur Förderung von Wissenschaft und Forschung an den deutschen Hochschulen. Konstanz, 2006. Forschungsprogramm, S. 3–49, особ. S. 15–28. См. также: *Reckwitz A.* Die Transformation der Kulturtheorien: Zur Entwicklung eines Theorieprogramms. Weilerswist, 2000; о новой культурной истории см. далее: *Daniel U.* Kompendium Kulturgeschichte: Theorien, Praxis, Schlüsselwörter. Frankfurt/Main, 2001; широкий обзор главных проблем и литературы: *Handbuch der Kulturwissenschaften / F. Jaeger, B. Liebsch, J. Rüsen, J. Straub (Hrsg.).* 3 Bde. Stuttgart u.a., 2004.

рассматриваются как основополагающие элементы личных и социальных миров. Они являются конструкциями, порождаемыми людьми и тесно связанными друг с другом. С одной стороны, возникновение культур исторично, в исторической среде они образуют свои смысловые конструкты, задаются, стабилизируются или изменяются их ориентиры. С другой стороны, культура относится к предмету истории, поскольку толкование прошлого происходит через призму культурных ценностей и представлений. Культура выступает кодом для всех форм человеческого самовыражения и творчества, в том числе для формирования идентичности, самовосприятия и стиля жизни. Так как значимость социального порядка и вместе с ним его культуры зависит от их историчности, то возникает вопрос, каким образом общество обращается к своей истории, как оно описывает свое прошлое и как с ним обходится. Исторически общество существует в силу культуры воспоминания. Через *культурную память* общество убеждается в своем происхождении и своем своеобразии.⁶⁷

Но сколько знаний о прошлом нужно обществу для создания и стабилизации его коллективной и, соответственно, национальной идентичности? Эти размышления приводят нас к различению понятий памяти и воспоминания. Теория культурной памяти различает между фиксированием информации в памяти и процессом вызова знания как воспоминания. Эта дифференциация понятий отражает то обстоятельство, что имеется принципиальное отличие между накопительным хранением знания и разумным распоряжением этим знанием. Разницу между накопительной и функциональной памятью теоретизировала Алейда Ассманн, причем обе инстанции понимаются как функционально взаимосвязанные. В то время как накопительная память включает в себя потенциально имеющийся в распоряжении мемориальный материал и ее можно представить как некий архив, функциональная память реагирует на требование момента и на современность, избранно «вызывает» забытое в сферу воспоминания; она отрывочна, ограничена и лабильна, находится в зависимости от изменяющихся оценочных и релевантных структур, порождаемых обществом.⁶⁸ Перевод данных памяти из резервуаров возможного в оформляющее воспоминание всегда является

⁶⁷ См.: *Angehrn E.* Kultur und Geschichte: Historizität der Kultur und kulturelles Gedächtnis // *Handbuch der Kulturwissenschaften*. Bd.1: Grundlagen und Schlüsselbegriffe / F. Jaeger, B. Liebsch (Hrsg.). S. 385–400; *Rüsen J.* Historische Orientierung: Über die Arbeit des Geschichtsbewußtseins, sich in der Zeit zurechtzufinden. Köln u.a., 1994. Ocoб. S. 209–234; *Sandl M.* Historizität der Erinnerung: Reflexivität des Historischen. Die Herausforderung der Geschichtswissenschaft durch die kulturgeschichtliche Gedächtnisforschung // *Erinnerung, Gedächtnis, Wissen: Studien zur kulturwissenschaftlichen Gedächtnisforschung* / G. Oesterle (Hrsg.). Göttingen, 2005. S. 89–120; дальнейшее развитие вопроса см.: *Historische Sinnbildung: Problemstellungen, Zeitkonzepte, Wahrnehmungshorizonte, Darstellungsstrategien* / J. Rüsen, K.E. Müller (Hrsg.). Reinbek/H., 1997.

⁶⁸ *Assmann A.* Der lange Schatten der Vergangenheit: Erinnerungskultur und Geschichtspolitik. München, 2006. Ocoб. S. 54–58.

процессом исторического придания смысла. Сведения интегрируются в контексте истории, которую можно рассказать. Одновременно они конструируются как часть собственного образа, который оказывает обратное воздействие на восприятие информации, собирающейся непрерывно. Этот резервуар может также послужить для того, чтобы разработать новое самовосприятие и произвести переоценку прошлого. Формы и способы функционирования памяти допускают многократную дифференциацию, к примеру, социальную по группам – пусть это будут индивидуумы, семьи, социальные или политические коллективы. Принадлежность к специфической группе придает воспоминаниям конкретность, обусловленную обстоятельствами, местом и временем, а также структуру и обязательность.⁶⁹

Работу историка следует рассматривать в цепи подобных специфических процессов придания смысла. Историография – это не просто отображение прошлого, но структурирующая и интерпретационная деятельность. Историческая наука не только расшифровывает смысл причинных связей прошлого, но и сама привносит его. Историк как индивидуум, сформировавшийся под воздействием окружающего мира, принимает участие в социальном процессе формирования памяти, из которой только и возможно почерпнуть собственное воспоминание. Историк содействует основанному на источниках толкованию исторического контекста, который в результате научного дискурса приобретает определяющее направление. Оно результируется не *только* из убедительности источников, но и из общественной потребности в поиске смысла, а также из потребности в коллективной или национальной идентичности. Исходя из этой потребности, формулируются исследовательские интересы и ставятся глобальные вопросы, адресованные изучаемому материалу, который в результате проходит целенаправленную селекцию.⁷⁰

Из этой связи между поиском смысла в прошлом и его толкованием в настоящем с помощью историографии следует, что общество сталкивается не только со своей историей, но и со своей культурой изучения истории. Спор об обременительном прошлом сопровождается дебатом о деятельности в области воспоминания *и* о политике в отношении истории. При этом история имеет также отчетливую общественную функцию выбора ориентиров: ибо люди объясняются между собой, оперируя своими нормами и ценностями, своими представлениями о настоящем и будущем, в свою очередь опирающимися на прошлое и на исторический опыт,

⁶⁹ Основополагающие работы: *Halbwachs M.* Das kollektive Gedächtnis. Stuttgart, 1967; *Assmann J.* Das kulturelle Gedächtnis: Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen. München, 1992. S. 34–41 и passim.

⁷⁰ *Rüsen J.* Historische Orientierung; *Angehrn E.* Kultur und Geschichte; *Wischermann C.* Kollektive, Generationen oder das Individuum als Grundlage von Sinnkonstruktionen durch Geschichte: Einleitende Überlegungen // Vom kollektiven Gedächtnis zur Individualisierung der Erinnerung / C. Wischermann (Hrsg.). Stuttgart, 2002. S. 9–24; *Markus S.* „Schreiben heißt: sich selber lesen“: Geschichtsschreibung als erinnernde Sinnkonstruktion // Там же. S. 159–184; *Kittstein H.D.* „Gedächtniskultur“ und Geschichtsschreibung // Verbrechen erinnern: Die Auseinandersetzung mit Holocaust und Völkermord / V. Knigge, N. Frei (Hrsg.). München, 2002. S. 306–326.

которые, таким образом, фигурируют как социальная и культурная, т.е. как кратковременная и долговременная памяти.⁷¹

Общественная деятельность в сфере воспоминания в отношении преступлений против человечности, совершенных нацистским и сталинским режимами, как мы знаем, находилась в послевоенное время в зависимости от соответствующих политических систем и от того, что мы в теории культуры называем «основным рассказом» („Meistererzählung“). При этом между Советским Союзом и молодой Федеративной Республикой Германия существовала принципиальная разница, которая была определяющей для формирования идентичности и культуры памяти: в то время как в Советском Союзе и подконтрольных ему странах победа в Великой Отечественной войне расценивалась согласно марксистско-ленинской теории как закономерное явление и это имело решающие последствия для формирования коллективного воспоминания как героического нарратива, ФРГ должна была сосуществовать с чувством вины за развязывание войны. Особая двойственная роль, которую играла ГДР в контексте этой поляризации, стала в последние годы предметом интенсивных исторических исследований.⁷²

В ФРГ гражданско-правовые принципы получили конституционную силу, а союзниками была проведена ограниченная, но громкая денацификация, стоит только вспомнить о Нюрнбергском процессе. Историки должны были смириться с новыми условиями, но одновременно оказались задействованы в процессе трудных поисков идентичности в условиях демократии, которая для многих из них была чужой, но чьи нормы они не могли игнорировать.

II. Немецкая память о национал-социализме

Изучение исторического сознания, преодоления прошлого и политики в отношении истории в ФРГ наглядно продемонстрировало, какой мучительный путь должен был быть пройден, чтобы решить проблему травматизации общества, вернуть

⁷¹ *Wischermann C.* Kollektive, Generationen oder das Individuum als Grundlage von Sinnkonstruktionen durch Geschichte; *König F.* Die Gestaltung der Vergangenheit: Zeithistorische Orte und Geschichtspolitik im vereinten Deutschland. Marburg, 2007. Ocoб. S. 19–48; *Der Krieg der Erinnerung: Holocaust, Kollaboration und Widerstand im europäischen Gedächtnis / H. Welzer (Hrsg.).* Frankfurt/M., 2007, в особенности см. в данной книге: *Welzer H., Lenz C.* Opa in Europa: Erste Befunde einer vergleichenden Tradierungsforschung. S. 7–40; *Bouvier B., Schneider M.* Geschichtspolitik und demokratische Kultur: Einleitende Überlegungen // *Geschichtspolitik und demokratische Kultur: Bilanz und Perspektiven / B. Bouvier, M. Schneider (Hrsg.).* Bonn, 2008. S. 7–12; *Schneider M.* Betroffenheit – Erkenntnis – Transfer: Zur öffentlichen Erinnerung an die NS-Zeit // Там же. S. 65–74; *Geschichtspolitik und Gegenerinnerung. Krieg, Gewalt und Trauma im Osten Europas / M. Sapper, V. Weichsel (Hrsg.).* Berlin, 2008. [Themenheft v. Osteuropa 2008, H. 6]

⁷² *Sabrow M.* Beherrschte Erinnerung und gebundene Wissenschaft: Überlegungen zur DDR-Geschichtsschreibung über die Zeit von 1933 bis 1945 // *Erinnerungskulturen: Deutschland, Italien und Japan seit 1945 / Ch. Cornelißen u.a. (Hrsg.).* Frankfurt/M., 2003. S. 153–167; см. также: *Die geteilte Vergangenheit: Zum Umgang mit Nationalsozialismus und Widerstand in beiden deutschen Staaten / J. Danyel (Hrsg.).* Berlin, 1995.

вытесненное обратно в коллективное сознание и тем самым сделать возможным деятельность по осмыслению этого прошлого. Только если воспоминание делит между собой и жертвы, и преступники – так гласят результаты исследований памяти – общественная травма может быть преодолена и достигнуто примирение на моральном уровне, интеграция и единение в социальной сфере.⁷³

Немецкое общество пережило поражение во Второй мировой войне как национальную катастрофу. Это означало в случае с Германией, ставшей виновницей беспримерной войны на уничтожение, разрушение не только материальных, но и моральных жизненных основ. Общественная травма оказалась связанной с многомиллионными жертвами, о чем не принято было писать в образцовых героических повествованиях. Но преступления против человечности невозможно было вылечить забвением, тем более что голос выживших жертв преследований времен национал-социализма со временем стал звучать публично. А послевоенное поколение стремилось к тому, чтобы выстраивать свою идентичность на проработанном и очищенном от старых мифов отношении к национал-социалистическому прошлому.⁷⁴

Потребовалась смена поколений и радикальная общественно-политическая трансформация (связанная с 1968 и 1989 гг.), чтобы прийти к совместному, общенемецкому преодолению собственного прошлого, сопровождавшемуся соответствующим изменением историко-научных дискурсов и изменившимся интересом к уже имеющимся документальным источникам. Предпочтение теории тоталитаризма в первые послевоенные десятилетия имело для немецких историков оправдательную функцию, так как национал-социалистический режим рассматривался в ряду других европейских тоталитарных режимов и их культуры насилия. Тенденция исследования личных миров методами Oral History соответственно не была спецификой послевоенного времени, но стала признаком конца XX столетия, когда в исследованиях произошел поворот от элит и структур к повседневному сознанию немцев, в котором созрели предпосылки для реализации самых ужасных преступлений.⁷⁵

⁷³ Assmann A. Der lange Schatten der Vergangenheit. S. 74–76. О проблематике общественной травмы см.: Giesen B. Das Trauma der „Täternation“ // *Geschichtsbilder: Konstruktion – Reflexion – Transformation* / Ch. Jostkleigrewe (Hrsg.). Köln u.a., 2005. S. 387–414.

⁷⁴ О проблематике фактора генераций см.: Assmann A. *Geschichte im Gedächtnis: Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung*. München, 2007. S. 31–40. Обзор в: Reichel P. *Vergangenheitsbewältigung in Deutschland: Die Auseinandersetzung mit der NS-Diktatur von 1945 bis heute*. München, 2001.

⁷⁵ Wolfrum E. *Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland 1949–1989: Phasen und Kontroversen // Umkämpfte Vergangenheit: Geschichtsbilder, Erinnerung und Vergangenheitspolitik im internationalen*

Кристоф Корнелисен выделил типы историков ФРГ, которые в зависимости от принадлежности к поколению имели специфическое обращение с прошлым, что отразилось на их научном профиле и на их общественном признании. Это показывает, как тесно связаны и как обуславливают друг друга историческое сознание и политика в области истории, то есть политический запрос на историю. Историки стояли и стоят в центре общества как элитарная группа, представители которой с помощью коммуникации и средств массовой информации непосредственно формируют его сознание и идентичность.⁷⁶

Время возникновения ФРГ было отмечено такой «тяжелой дезориентацией», что в исторической науке и политике доминировала метафора о «внеисторическом времени».⁷⁷ Нацистский режим трактовал себя как завершителя немецкой истории; после окончания войны все традиционные ценности были подорваны. Вильгельмовское поколение историков, глубоко интегрированное в систему ценностей и норм поздней империи, развивало различные стратегии, целью которых было снять груз памяти, начиная от осуществлявшегося втихомолку морального очищения и заканчивая поисками истинной Германии. Причины возникновения национал-социалистической диктатуры европеизировались, ее преступления в значительной мере замалчивались, преемственность в истории опровергалась. Дискуссия о Бисмарке, игравшая как бы роль замещающих дебатов о причинах национал-социализма, была направлена на то, чтобы заново воскресить традицию историографии «на службе» единства нации. Эта задача соединила следующее поколение, «поколение бундиш», с вильгельмовским. В отличие от последнего, социализация «поколения бундиш» происходила под впечатлением от моральной травмы, связанной с Версальским миром и разочарования кризисным развитием Веймарской республики, что во многом привело к стремлению найти в национал-социализме духовную родину или, по меньшей мере, воспринять элементы его идеологии. В послевоенное время историки избирали для своих исследований преимущественно другие эпохи. Мюнстерский историк Курт фон Раумер заявил в 1950 г.: «Я полагаю, что тот, кто заблуждался так, как заблуждались мы, должен провести долгое время в молчании, чтобы не стать окончательно

Vergleich / P. Bock, E. Wolfrum (Hrsg.). Göttingen, 1999. S. 55–81; в качестве примера: *Welzer H.* u.a. „Opa war kein Nazi“: Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Frankfurt/M., 2002.

⁷⁶ *Cornelißen Ch.* Historikergenerationen in Westdeutschland seit 1945: Zum Verhältnis von persönlicher und wissenschaftlich objektivierter Erinnerung an den Nationalsozialismus // *Erinnerungskulturen / Ch. Cornelißen* (Hrsg.). S. 139–152.

⁷⁷ *Wolfrum E.* Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. S. 60.

недостовверным».⁷⁸ Некоторые поступали согласно этому призыву, так что Дольф Штернбергер даже ввел понятие «витальная забывчивость».⁷⁹ Но Эдуард Мюле на примере Германа Аубина весьма убедительно продемонстрировал, что имелось достаточно историков, которые опирались на методы и содержание национал-социалистических идеологизированных исследований восточных территорий и добились на этом поприще чести и славы.⁸⁰ Они также сумели уклониться от атак со стороны историков ГДР и, позднее, западногерманского студенчества. Конечно же это не означает, что не было целенаправленных институциональных попыток, вывести исторические исследования из паралича, что доказывает создание Института современной истории (Institut für Zeitgeschichte) в Мюнхене в 1949 г.⁸¹

1960-е годы стали временем новой тенденции, которую в том числе представлял Теодор Шидер, заявивший в своей речи по поводу 30-й годовщины прихода нацистов к власти о том, что память возвращается очень медленно, и что в процессе изучения новейшей немецкой истории начинается освобождение от состояния «внутренней судороги».⁸² С вытеснением национал-социалистического прошлого было связано также учреждение национально-государственной памятной даты молодой Федеративной Республики Германия. Этой датой в качестве замещения стало 17 июня 1953 г., так как 8 мая 1945 г. уже было «занято» ГДР, а по поводу 20 июля 1944 г., дня неудавшегося покушения на Гитлера кругом Штауффенберга, в немецком обществе еще не было консенсуса. В Дне немецкого единства со временем проявилось стойкое признание немецкого национального государства, не в последнюю очередь для того, чтобы реабилитировать его во всем мире.⁸³

⁷⁸ *Cornelissen Ch.* Historikergenerationen in Westdeutschland. S. 142–148, цитата на S. 145; по вопросу общей проблематики см.: *Frei N.* Vergangenheitspolitik: Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München, 1999; *Schulze W.* Deutsche Geschichtswissenschaft nach 1945 // *Historische Zeitschrift*. Beiheft 10. München, 1989. Ocoб. S. 46–76.

⁷⁹ *Sternberger D.* Versuch zu einem Fazit // *Die Wandlung 1949*. H. 4. S. 699–710, здесь S. 701.

⁸⁰ *Mühle E.* Für Volk und deutschen Osten: Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ostforschung. Düsseldorf, 2005.

⁸¹ 50 Jahre Institut für Zeitgeschichte: Eine Bilanz / U. Wengst, H. Möller (Hrsg.). München, 1999.

⁸² *Cornelissen Ch.* Historikergenerationen in Westdeutschland. S. 147; *Schieder Th.* Zum Problem der historischen Wurzeln des Nationalsozialismus // *Aus Politik und Zeitgeschichte* [Beilage zur Wochenzeitung „Das Parlament“]. 30. Januar 1963. S. 19.

⁸³ *Wolfrum E.* Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. S. 64; см. также: *Assmann A., Frevert U.* Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit: Vom Umgang mit deutschen Vergangenheiten nach 1945. Stuttgart, 1999. Ocoб. S. 140–172, 234–257; *Korte K-R.* Der Standort der Deutschen: Akzentverlagerungen der deutschen Frage in der Bundesrepublik Deutschland seit den siebziger Jahren. Köln, 1990. S. 66–80, 102–106; *Hurrelbrink P.* Der 8. Mai 1945 – Befreiung durch Erinnerung: Ein Gedenktag und seine Bedeutung für das politisch-kulturelle Selbstverständnis in Deutschland. Bonn, 2005. Ocoб. S. 235–260.

Историко-политическая конструкция послевоенного десятилетия начала шататься в 1960-е годы. Дорогу для этого расчистила дебата Фишера⁸⁴: она сделала актуальным для общества тезис о преемственности немецкой истории, согласно которому консервативные слои общества перед и после Первой мировой войны вели политику, нацеленную на завоевание мировой гегемонии. Сопровождаемая сменой поколений, национально-апологетическая картина исторического процесса теперь подверглась основательной ревизии.⁸⁵ Это случилось, когда в жизнь было претворено требование демифологизации национал-социализма. В политике особенно Вилли Брандт продемонстрировал примирение с восточными соседями и с жертвами нацизма. Очевидно наиболее чреват последствиями был его символический акт коленопреклонения перед памятником жертвам Варшавского гетто. Этот жест был в то же время символом исторического переосмысления, которое подразумевало, что беды Германии начались уже в 1933, а не в 1945 году. С подписанием Московского и Варшавского договоров не было ничего потеряно, что не было бы уже утрачено национал-социалистическим режимом, – так возражал канцлер своим критикам.⁸⁶ В историко-научных и политических дебатах заявления о демократических исходных точках исторического позиционирования ФРГ звучали теперь сильнее, чем о национальных. Очередная смена тенденции пришла как время отрезвления в 1970-е и потом – в 1980-е годы – во многом обусловленная восточно-германским «изобретением» социалистической немецкой нации. В ФРГ стал популярным поиск нового патриотизма, питательной почвой которого была тоска по нормализации в противовес преодолению прошлого.⁸⁷ Острота связанного с этим процессом спора

⁸⁴ Дебатом Фишера (Fischer-Kontroverse) называют развернувшуюся в 1960-е годы длительную дискуссию среди историков ФРГ и других стран по вопросу политической стратегии Германского рейха перед и в годы Первой мировой войны, а также ответственности Германии за развязывание боевых действий летом 1914 г. Названа по имени гамбургского историка Фрица Фишера, чьи исследования, и в особенности книга «Der Griff nach der Weltmacht», опубликованная в 1961 г., послужили причиной начала дискуссии (Прим. переводчика).

⁸⁵ См. Jäger W. Historische Forschung und politische Kultur in Deutschland: Die Debatte 1914–1980 über den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Göttingen, 1984.

⁸⁶ Schneider Ch. Der Warschauer Kniefall: Ritual, Ereignis und Erzählung. Konstanz, 2006; Brandt W. Reden und Interviews. Bonn, 1971. Особ. S. 380.

⁸⁷ Vgl. Wolfrum E. Die 60er Jahre: Eine dynamische Gesellschaft. Darmstadt, 2006. S. 128–135; Wolfrum E. Die 70er Jahre: Republik im Aufbruch. Darmstadt, 2007. S. 58–64; Wolfrum E. Die 80er Jahre: Globalisierung und Postmoderne. Darmstadt, 2007. S. 122–126; Herf J. Zweierlei Erinnerung: Die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland. Berlin, 1998. S. 395–439; Terray E. Die unmögliche Erinnerung: Die Herstellung eines künstlichen nationalen Gedächtnisses in der DDR und ihr Mißlingen // Nation und Emotion: Deutschland und Frankreich im Vergleich: 19. und 20. Jahrhundert / François E. u.a. (Hrsg.). Göttingen, 1995. S. 189–198; Korte K.-R. Der Standort der Deutschen. S. 66–77; Reichel P. Politik mit der Erinnerung: Gedächtnisorte im Streit um die nationalsozialistische Vergangenheit. Frankfurt/M., 1999. S. 218–285.

историков однако очень быстро показала, насколько еще сильна была поляризация общества.⁸⁸

Чувство морального дискомфорта сохранилось также и у четвертого поколения. Но теперь в результате объединения Германии совершенно новым образом открылись возможности возникновения совместной памяти на Востоке и Западе Германии. Вслед за паролем «Мы единый народ!», после чрезвычайно сложных процессов поиска идентичности, последовал шаг, в результате которого Берлинский мемориал жертв Холокоста в Европе, построенный в центре столицы Германии, и, тем самым, в сердце немецкой нации, стал беспримерным символом воспоминания, которое способно дать шанс на примирение. Тем самым Германия снова вернула себя – так это можно оценивать, также и символически – в сообщество гражданских наций, чьими главными приоритетами являются права человека и гражданские права.⁸⁹

III. Проблемы культуры памяти в (Советской) России.

Мои рассуждения, касающиеся ФРГ, справедливы в отношении теории памяти также и для России: из сочетания поисков смысла в прошлом и его толкования с помощью истории в настоящем следует, что размышления об омраченном прошлом сопровождаются спорами как о деятельности в области памяти, так и о политике в сфере истории. При этом, разумеется, возникает вопрос, не случилось ли так, что за границей о русском историческом сознании и политике в отношении истории в настоящее время пишут более интенсивно, чем в самой России. Если рассматривать западную и восточную историографию совместно, то интерпретацию проблем, касающихся деятельности в области исторической памяти в России, можно обобщенно выразить следующим образом: в советское время стремление партии и государства действовать в соответствии с теорией марксизма-ленинизма приводило к необходимости подавления иных трактовок истории, которые могли бы поставить под сомнение, также и в исторической перспективе, главенствующую политическую идентичность. Историческая наука и политика в сфере истории подлежали контролю коммунистической партии, а процессы либерализации воздействовали непосредственно

⁸⁸ „Historikerstreit“. Die Dokumentation der Kontroverse um die Einzigartigkeit der nationalsozialistischen Judenvernichtung. München u.a., 1987.

⁸⁹ *Cornelissen Ch.* Historikergenerationen in Westdeutschland. S. 150; *Reichel P.* Politik mit der Erinnerung. S. 209–217; *Assmann A.* Der lange Schatten der Vergangenheit. S. 279.

на историографию и вызывали ее дифференциацию.⁹⁰ Так, хрущевская «оттепель» сделала возможным появление различных культур памяти. В это время в романах, воспоминаниях, публицистических и научных публикациях нашли свое отражение те горе и страдания, которые принесли с собой сталинизм и Вторая мировая война, и которые в послевоенное время были вытеснены из публичного исторического сознания в результате сталинского культа и мифологизации Великой Отечественной войны. Можно вспомнить здесь об «Одном дне Ивана Денисовича» Александра Солженицына или о критике сталинской военной политики и политики в отношении армии на страницах историко-научных трудов генерала Петра Григоренко или историка Александра Некрича.⁹¹ Но критический дух, который временами допускался руководством партии, был функционально заключен в жесткие рамки, и ограничивался критикой так называемого культа личности Сталина. После свержения Хрущева были также прекращены как духовная «оттепель», так и попытки сблизить партию, государство и общество путем либерализации деятельности в области исторической памяти. Это конечно же не означало, что советское общество с этого времени и вплоть до перестройки было обречено на молчание. Самиздат и Тамиздат, то есть книги, изданные нелегально в СССР или за рубежом, стали тогда отдушиной для воспоминаний о бесчеловечности сталинской диктатуры.⁹² Во времена перестройки, когда цензура была отменена, а Михаил Горбачев в 1987 г. программно потребовал заполнить «белые пятна», зияющие в историографии, гласность стала синонимом упоения средствами массовой информации, концентрировавшегося преимущественно вокруг темы восстановления исторической правды. Одновременно происходила глубокая трансформация восприятия и толкования истории, которая вела к широкому плюрализму. Этот процесс нашел свое воплощение также институционально и организационно: стоит только вспомнить об образовании общества «Мемориал» (1988) или новых университетов, к примеру о созданном в 1992 г. московским историком

⁹⁰ *Banerji A.* Writing history in the Soviet Union. New Delhi, 2008; *Hösler J.* Die sowjetische Geschichtswissenschaft 1953–1991: Studien zur Methodologie- und Organisationsgeschichte. München, 1995; *Markwick R.D.* Rewriting History in Soviet Russia: The Politics of Revisionist Historiography, 1956–1974. Basingstoke u.a., 2001; *Stalin bewältigen: Dokumente und Aufsätze der 50er, 60er und 80er Jahre* / G. Judick, K. Steinhaus (Hrsg.). Düsseldorf, 1989.

⁹¹ *Солженицын А.И.* Один день Ивана Денисовича // Собр. соч. в 30 т. Т. 1. М., 2006; *Nekritsch [Nekrič] A., Grigorenko P.* Genickschuß: Die Rote Armee am 22. Juni 1941 / Hrsg. u. eingel. von G. Haupt. Wien u.a., 1969.

⁹² *Beyrau D.* Intelligenz und Dissens: Die russischen Bildungsschichten in der Sowjetunion 1917–1985. Göttingen, 1993; *Samizdat: Alternative Kultur in Zentral- und Osteuropa: Die 60er bis 80er Jahre* / W. Eichwede (Hrsg.). Bremen, 2000.

Юрием Афанасьевым Российском государственном гуманитарном университете.⁹³ Нарративы советской эпохи продолжали и далее предлагать свои варианты идентичности, но теперь свое публичное место, благодаря рассказам людей, ставших изгоями в результате чисток, войны, заключения в лагерь или дискриминации любого вида, заняли также и жертвы. Девяностые годы можно назвать золотым веком историографии – благодаря открытию архивов, интернационализации исторических исследований и привнесенным методологическим импульсам – к примеру в области истории повседневности и поисках идентичности. Особенностью 1990-х годов в области исторической науки и написания учебников по истории стало то, что государство в результате политического перелома отказалось от своих функций контроля. Тем не менее мотивации общества в условиях всеобъемлющего кризиса не хватило для того, чтобы исчерпывающим образом разрешить вопрос о палачах и жертвах.⁹⁴

Применительно к официальному, инициированному президентом России Борисом Ельциным и решительно поддержанному Владимиром Путиным, поиску новой российской идентичности, которая логично соединялась бы с преобразованной государственностью, исходным пунктом должна выступать общность исторического позиционирования государства и общества. Коллективная идентичность была и остается конструкцией, инициированной государством и формирующейся путем изменения главных символов, таких как государственный гимн или национальные дни памяти. Победа в Великой Отечественной войне заместила в качестве главного мифа, легшего в основание государства, Октябрьскую революцию. Усилия государства по созданию коллективной идентичности риторически взаимосвязаны с ориентацией на «патриотизм», эмоциональную конструкцию, которая содержательно приводится в

⁹³ Избранные публикации по теме: Es gibt keine Alternative zu Perestroika: Glasnost, Demokratie, Sozialismus / J. Afanassjew (Hrsg.). Nördlingen, 1988; Wir brauchen die Wahrheit: Geschichtsdiskussion in der Sowjetunion / G. Meyer (Hrsg.). 2. Aufl. Köln, 1989; Die Umwertung der sowjetischen Geschichte / D. Geyer (Hrsg.). Göttingen, 1991; *Davies R.W.* Perestroika und Geschichte: Die Wende in der sowjetischen Historiographie. München, 1991; Исторические исследования в России. Тенденции последних лет / Под ред. Г.А. Бордюгова. М., 1996; *Fein E.* Geschichtspolitik in Rußland: Chancen und Schwierigkeiten einer demokratisierenden Aufarbeitung der sowjetischen Vergangenheit am Beispiel der Tätigkeit der Gesellschaft MEMORIAL. Hamburg, 2000; см. также проекты «Мемориала» по изучению и осмыслению прошлого: www.memorial.de; www.gulag.memorial.de; www.memo.ru (дата получения доступа: 29.12.2009).

⁹⁴ *Ennker B.* Sowjetgeschichte und Identitätsfindung heute: Historisches Erbe und Politik in Russland // Osteuropa: Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Festschrift für Gerd Meyer / A. Buzogány, R. Frankenberger (Hrsg.). Baden-Baden, 2007. S. 109–132; *Davies R.W.* Soviet History in the Yeltsin Era. Basingstoke u.a., 1997; *Golubev A.V.* Das Bild der sowjetischen Vergangenheit in den rußländischen Schulbüchern der letzten Jahre // Auf dem Kehrichthaufen der Geschichte? Der Umgang mit der sozialistischen Vergangenheit / I. de Keghel, R. Maier (Hrsg.). Hannover, 1999, S. 103–113; *Langenohl A.* Erinnerung und Modernisierung: Die öffentliche Rekonstruktion politischer Kollektivität am Beispiel des Neuen Rußland. Göttingen, 2000.

соответствие с вышеназванными символами и внешнеполитической ориентацией России на восстановление ее статуса великой державы.⁹⁵

Таким образом, проблема коллективной интеграции в результате выработки совместной памяти и преодоления прошлого кажется сформулированной заново в результате этих государственных установок: это демонстрирует актуальная дискуссия о новой, вышедшей в 2007 г., книге для учителей истории. Последняя во внутрироссийском дискурсе подвергнута критике за то, что она реабилитирует сталинизм, оправдывает террор и исключает Россию из числа стран, разделяющих ценности западного общества. Если такие представления будут доминировать историко-политически, то новая национальная идентичность – как это следует из всего вышесказанного – может возникнуть только в результате игнорирования всех тех, чьи страдания еще не получили признания. Так как это затрагивает также государства – республики бывшего Советского Союза, то в целом можно было бы констатировать, что новая Россия оказалась не в состоянии решить свои насущные интеграционные проблемы ни внутри страны, ни за ее рубежами. «Счастливого забвения», которое недавно рекомендовал ученикам один из соавторов нового учебника по истории России в XX веке, лишает, по мнению его критиков, дееспособности не только всех пострадавших от действий бесчеловечного режима, но и всех тех, кто дает навязать себе такую интерпретацию истории. Прежде всего это препятствует воспитанию юного поколения в духе гражданской ответственности, в том числе и в отношении сопредельных России государств.⁹⁶ В действительности результаты опроса общественного мнения показывают, что общее положительное восприятие Сталина снова растет, даже у тех людей, которые сами пострадали, или чьи друзья или семьи были жертвами сталинизма. Это объясняется т.н. «негативной идентичностью», которая основывается на конструировании культурной границы между Россией и внешним миром, при этом внешний мир трактуется негативно. В таком случае индивидуальная и коллективная идентичность формировались бы под сильным воздействием разграничения от внешнего мира. Наряду с этим в коллективной памяти

⁹⁵ Scherrer J. Siegesmythos versus Vergangenheitsaufarbeitung // *Mythen der Nationen: 1945 – Arena der Erinnerungen*. Bd. 2 / M. Flacke (Hrsg.). Mainz, 2004. S. 619–670; Kegel I. de. *Die Staatssymbolik des neuen Russland: Traditionen, Integrationsstrategien, Identitätsdiskurse*. Münster u.a., 2008.

⁹⁶ Цитирую по: Holm K. *Der Greuel gedenken: Eine erregende Debatte über russische Traumata* // *Frankfurter Allgemeine Zeitung*. 23. Juni 2008 г.; Филиппов А.В. *Новейшая история России 1945–2006 гг.: Книга для учителя*. М., 2007; Островский В.П., Уткин А.И. *История России: XX век: 11 класс*. М., 2001; Klokowa G. *Die Darstellung der Diktatur in Geschichtsschulbüchern der postsowjetischen Zeit // Auseinandersetzungen mit den Diktaturen: Russische und deutsche Erfahrungen* / H.-H. Nolte (Hrsg.). Gießen u.a., 2005, S. 83–110.

России происходит героизация истории, а героический нарратив служит способом общественного примирения, причем решающей исходной точкой выступают воспоминания о Второй мировой войне.⁹⁷

⁹⁷ *Ennker B.* Sowjetgeschichte und Identitätsfindung heute. S. 125–129; *Dubin B.* Goldene Zeiten des Krieges: Erinnerung als Sehnsucht nach der Brežnev-Ära // Osteuropa 2005, Heft 4–6. S. 219–233; *Гудков Л.Д.* Победа в войне: К социологии одного национального символа // *Гудков Л.Д.* Негативная идентичность. Статьи 1997–2002 годов. М., 2004. С. 20–58; *Гудков Л.Д.* К проблеме негативной идентификации // Там же. С. 262–299; см. также: *Scherbakowa [Ščerbakova I.]* Zerrissene Erinnerung: Der Umgang mit Stalinismus und Zweitem Weltkrieg im heutigen Russland. Göttingen, 2010.

Аркадий Цфасман

Освещение роли Сталина в советских школьных учебниках по истории СССР (середина 1930-х – середина 1980 –х гг. XX века)

Сталинская «революция сверху», охватившая Советский Союз в 1930-е годы, как известно, сопровождалась радикальными преобразованиями. Они привели к оформлению тоталитарно-коммунистического режима, стремившегося поставить под свой контроль все сферы жизни общества. Среди этих преобразований наиболее существенными были форсированная индустриализация, насильственная «коллективизация» крестьянства и так называемая «культурная революция». В рамках «культурной революции» важнейшую роль играла реорганизация народного образования. Решительно отвергнув педагогические эксперименты, методы обучения и воспитания первого десятилетия большевистской власти, руководство страны подчиняло школу централизованному контролю через введение обязательных учебных планов и программ, установление единоначалия и т. п. В ряду этих преобразований находилось и партийно-правительственное постановление от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах СССР». В соответствии с ним вводилось обучение истории в системе общеобразовательной школы, отмененное после большевистской революции, восстанавливались закрытые тогда же исторические факультеты в университетах и ставилась задача подготовки учебников по истории. Инициатива в подготовке данного постановления принадлежала самому Иосифу Сталину. История была нужна ему для насаждения патриотизма, как традиционного русского, так и нового, советского. Историю, особенно историю недавнего прошлого, он стремился использовать и для возвышения собственной личности. Не исключено, что некоторую роль в повороте Сталина к преподаванию истории мог сыграть и пример Германии, где пришедший к власти национал-социализм быстро и успешно насаждал свои идеи через преподавание истории. Об эффективности этого нацистского опыта писал в 1934 году советский журнал для учителей «Борьба классов».⁹⁸

Введение преподавания истории Сталин взял под свой контроль. Как подчеркивал тогдашний нарком просвещения Андрей Бубнов, при подготовке

⁹⁸ Соколова А., Бернадский И.: Как преподают историю в школах Германии // Борьба классов 1934. №№5,6.

постановления от 16 мая 1934 г. Сталин «взял инициативу на себя и сам непосредственно, строчку за строчкой, букву за буквой, запятую за запятой отредактировал это решение».⁹⁹

Одновременно сталинское руководство потребовало резкого усиления идеологического контроля за деятельностью учителей. Виднейший большевистский идеолог и ближайший сподвижник Сталина Андрей Жданов говорил о необходимости того, чтобы в школах «каждого, кто посмел сказать что-либо [плохое – А.Ц.] о Сталине или других вождах, взяли так в работу, чтобы он и не пикнул».¹⁰⁰

Усиление сталинского контроля за школой, по времени совпадавшего с волной массовых репрессий 1936-1938 гг., порождало среди работников образования страх и конформизм, хотя среди них было немало и искренне веривших в коммунизм. Следствием этого стало создание нужной тоталитарному режиму школы. Важнейшим её элементом должны были стать и «стабильные учебники», от которых учителя не могли отступить ни на шаг.

Подготовка учебников по истории проходила под бдительным контролем высшего большевистского руководства. Ознакомившись с конспектами учебников по истории СССР и новой истории зарубежных стран, Сталин, и его ближайшие соратники Сергей Киров и Андрей Жданов признали их неудовлетворительными и высказали замечания, которые легли в основу подготовки школьных учебников.¹⁰¹ Их создавали авторские коллективы, утвержденные высшим партийно-государственным руководством.

Однако первые учебники не оказались долговременными. Прокатившаяся в 1936-1938 гг. волна репрессий поглотила многих авторов, а также видных большевистских деятелей, имена которых изымались со страниц учебников.

Оформление сталинской концепции истории страны с конца XIX в. и развития большевистской партии связано с выходом 1938 г. книги «История ВКП(б). Краткий курс», которая была отредактирована лично Сталиным. Она стала теоретико-методологической основой и фундаментом сталинизма. Эта книга была положена в основу сталинской интерпретации того периода истории, с которым были связаны жизнь и деятельность большевистского диктатора.

⁹⁹Днепров Э.Д. Современная школьная реформа в России. М., 1998. С. 28.

¹⁰⁰Там же. С. 30.

¹⁰¹Директивы ВКП(б) и постановления советского правительства о народном образовании за 1917-1947 гг. Вып. 1. М.-Л., 1947. С. 186.

С особенной полнотой «Краткий курс» отразился на содержании первого «стабильного» учебника по истории СССР для 10 класса средней школы, вышедшего в 1940 г. В нем Сталин изображался как безупречный революционер, как выдающийся организатор и руководитель борющихся трудящихся масс вначале Закавказья, а затем и всей России, как последовательный большевистский вождь, который совместно с Лениным создал большевистскую партию, разработал её теоретические основы, ковал «железную гвардию большевиков», стоял у истоков большевистской газеты «Правда», руководил Октябрьской революцией 1917 г. и сыграл выдающуюся роль в гражданской войне. В соответствии с насаждаемой концепцией «двух вождей», Сталин во всех революционных делах всегда был вместе с Лениным, его роль трактовалась как равновеликая Ленину. Став после смерти Ленина единственным вождем, Сталин, согласно интерпретации учебника, очистил партию от всех враждебных большевизму сил («троцкистов», «зиновьевцев», «бухаринцев» и др.), возглавил дело индустриализации и создания колхозного строя, обеспечил успех «культурной революции» и тем самым привел страну к торжеству социализма, к невиданной её мощи и величию, а советский народ – к благосостоянию и счастливой жизни. Учебник изобилует цитатами из работ Ленина, а еще больше – Сталина.

Так был создан канонический школьный учебник по истории СССР, который с небольшими изменениями просуществовал до середины 1950-х гг.¹⁰²

Учебники, издававшиеся в годы войны Советского Союза против нацизма (1941-1945 гг.), повторяли издание 1940 г.; в них лишь включались дополнения о недавних событиях войны, при этом непременно отмечалась выдающаяся роль Сталина не только как вождя, но и как полководца. Аналогично обстояло дело с учебниками, выпущенными в первые послевоенные годы, вплоть до смерти Сталина в 1953 г. Учебник, выпущенный в 1954 г., продолжал утверждать, что «имя Сталина справедливо стоит рядом с именами величайших людей во всей истории человечества – Маркса – Энгельса – Ленина».¹⁰³

Состоявшийся в феврале 1956 г. XX-й съезд КПСС и доклад на нем Никиты Хрущева о культе личности Сталина положили конец безмерной апологетике тоталитарного диктатора. Точка зрения партийно-государственного руководства в первые годы хрущевской «оттепели» (вторая половина 1950-х – начало 1960-х гг.)

¹⁰²Базилевич К.В. и др. История СССР. Учебник для 10 класса средней школы. Под ред. проф. А.М. Панкратовой. М., 1940.

¹⁰³Там же. (12-е издание, прим. ред.) М., 1954. С. 421.

заклучалась в осуждении «необоснованных» репрессий Сталина и некоторых его «ошибок», но одновременно в стремлении обосновать его «заслуги» в отстаивании после смерти Ленина большевистских идейно-политических принципов против различных «врагов» большевизма, в руководстве строительством социализма.

В этом духе освещалась роль Сталина в вышедшем в 1956 г. 15-ом издании учебника по истории СССР (авторы и отв. ред. – те же). Имя Сталина упоминалось значительно реже, он изображался не равным Ленину, а как один из его учеников и соратников. Заслуги в деле строительства социализма теперь приписывались коммунистической партии. В разделе о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Сталин упоминался лишь несколько раз. Отсутствовали характеристика Сталина как «выдающегося полководца» и традиционной для этого раздела портрет «генералиссимуса». В разделе о XX-м съезде КПСС присутствовал короткий абзац: «Съезд осудил культ личности [без указания имен –А.Ц.], распространение которого умаляло роль партии и народных масс, принижало значение коллективного руководства партии и нередко приводило к серьезным упущениям в работе.»¹⁰⁴ Эта формулировка стереотипно входила во все последующие издания данного учебника вплоть до 1961 г.

Некоторое усиление критики Сталина, происходившее на втором этапе хрущевской «оттепели», в том числе и на XXII-м съезде КПСС (октябрь 1961 г.), повлияло и на школьные учебники. В них была отчетливо усилена «ленинизация» истории, т.е. всячески подчеркивались «выдающиеся заслуги» Ленина, а после его смерти – созданной им коммунистической партии. Имя Сталина упоминалось нечасто. Он фигурировал в ряду канонизированных «видных деятелей» партии (Фрунзе, Киров, Орджоникидзе и др.), принимавших участие в революции и гражданской войне. Причины появления «культа личности» объяснялись в полном соответствии с постановлением ЦК КПСС от 30 июня 1956 г. «О преодолении культа личности и его последствий». «Находясь длительный период на посту генерального секретаря ЦК партии» – говорилось в учебнике, – «И.В.Сталин вместе с другими руководящими деятелями активно боролся за претворение в жизнь ленинских заветов. Он был предан марксизму-ленинизму, как теоретик и крупный организатор возглавил борьбу партии против троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов, против происков капиталистического окружения. В этой политической и идейной борьбе

¹⁰⁴Базилевич К.В. и др. История СССР. (15-е издание) М., 1956. С.270.

Сталин приобрел большой авторитет и популярность. Однако с его именем стали неправильно связывать все наши великие победы. Успехи, достигнутые Коммунистической партией и Советской страной, восхваления по адресу Сталина вскружили ему голову. В этой обстановке стал складываться культ личности Сталина. Все сильнее обнаруживались отрицательные черты характера Сталина, о которых еще в 1922 году предупреждал В.И.Ленин: грубость, капризность, нетерпимость к критике, чрезмерная подозрительность. Сталин, – говорилось далее, – начал злоупотреблять властью, нарушать ленинские принципы коллективного руководства и единолично решать важнейшие вопросы партийной и государственной жизни.» Благодаря этому у руководства органов государственной безопасности оказались «карьерист Ежов и политический авантюрист Берия», фабриковавшие «обвинения против руководящих работников партии и государства». Но культ личности Сталина, подчеркивалось в учебнике, не мог остановить «победоносного движения вперед», ибо советский народ «под руководством великой партии коммунистов по плану, начертанному великим Лениным, победоносно строил социализм».¹⁰⁵

С конца 1960-х гг., когда во главе коммунистической партии и государства находился Леонид Брежнев, страна вступила в длительный период «застоя». Главным идеологом брежневского режима был член Политбюро ЦК КПСС сталинист Михаил Суслов. Идеологический климат в стране все более определялся стремлением реабилитировать и в чем-то возродить сталинизм. И хотя по-прежнему главными «героями» оставались непогрешимые Ленин и созданная им партия, однако Сталину отводилась всё более видная роль. Так, в учебнике, изданном в 1976 г., Сталин многократно фигурировал и как один из видных руководителей большевистской революции 1917 г., и как один из организаторов разгрома белых армий в годы гражданской войны. В последующее время он «сыграл выдающуюся роль в разгроме троцкистско-зиновьевского блока». Рассказывая об успехах строительства социализма в 1930-е годы, учебник коснулся и «отрицательных явлений в политической жизни страны» – нарушений «советской демократии, социалистической законности». Эти явления связывались с «культом личности Сталина», который как утверждалось, сложился во второй половине 1930-х гг. Причины формирования «культа личности»

¹⁰⁵О преодолении культа личности и его последствий. Постановление Центрального комитета КПСС. М.,1956.

объяснялись более лаконично, чем в учебниках 1960-х гг., на этот раз отсутствовал перечень репрессированных крупнейших политических и военных деятелей.¹⁰⁶

В последние годы «застоя» (впервой половине 1980-х гг.) всё отчетливее проявлялась тенденция к реабилитации Сталина. В учебниках того времени (напр., в учебнике по Истории СССР 1983 г.) Сталин неоднократно фигурировал среди дореволюционных «соратников» Ленина, активных сотрудников большевистской газеты «Правда», назван среди членов военно-революционного центра по подготовке Октябрьского восстания 1917 г. Учебник отмечал также заслуги Сталина в послереволюционное время: в годы гражданской войны, в борьбе против «антиленинских элементов» в 1920-е годы, в создании конституции 1936 г. Итоги его деятельности в предвоенные годы были подведены в следующей фразе: «В осуществлении ленинского плана социалистического строительства большую роль сыграл Сталин. Будучи с апреля 1922 года Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), И.В. Сталин вместе с другими руководящими деятелями партии активно боролся за претворение в жизнь ленинских заветов. Он был предан марксизму-ленинизму; как теоретик и крупный организатор возглавил борьбу партии против троцкистов, правых оппортунистов, буржуазных националистов, против происков капиталистического окружения. Однако в дальнейшей деятельности И.В. Сталина были допущены ошибки, которые получили осуждение на XX съезде КПСС, состоявшемся в феврале 1956 г.» Последняя фраза оказалась единственной, в которой говорилось об «ошибках» Сталина; при этом даже не указывалось, о каких «ошибках» (а тем более о преступлениях) идет речь.¹⁰⁷

В разделах учебника по истории страны в военные и первые послевоенные годы имя Сталина упоминалось в связи с его обращением по радио к народу 3 июля 1941г., его «назначением» председателем Государственного комитета обороны страны и Верховным главнокомандующим в конце июля того же года, с участием в межсоюзнических конференциях и назначением Председателем совета министров СССР в 1946 г. Никаких негативных оценок деятельности Сталина в данный период учебник не содержал. Но впервые было констатировано, что пленум ЦК партии, состоявшийся в 1953 г., наметил меры по ликвидации нарушений «ленинских норм и

¹⁰⁶Берхин И.Б, Федосов И.А.: История СССР. Отв. ред. М. П. Ким. М., 1976. С.163, 220, 221.

¹⁰⁷История СССР (1900-1937гг). Пробный учебник для 9 класса средней школы. Отв. ред. Ю. Кукушкин. М., 1982.

принципов партийной и государственной жизни, серьезно нарушавшихся в последние годы жизни И.В. Сталина». О самих нарушениях учебник ничего не говорил.

Заключение

Подводя итоги, отметим, что освещение роли Сталина в советских школьных учебниках по истории СССР находилось в прямой зависимости от состояния и эволюции тоталитарно-коммунистического режима и вместе с ним прошло следующие этапы.¹⁰⁸

I. Середина 1930-х – середина 1950 гг., время оформления и господства сталинского тоталитарно-коммунистического режима и сталинской концепции истории страны в XX веке. В рамки режима был «встроен» многофункциональный механизм идеологического воздействия на население. Истории в нем отводилась важнейшая роль. Через нее режим стремился напрямую насаждать нужные ему идеи, в том числе и культ Сталина среди населения, особенно среди подрастающего поколения. В силу этого Сталин лично инициировал восстановление преподавания истории и оказал определяющее воздействие на разработку удобной ему концепции истории страны в XX веке. Согласно ей, вплоть до начала 20-х годов в большевизме и руководстве страной действовали два равновеликих вождя – Ленин и Сталин, а после смерти первого Сталину приписывались все заслуги руководства страной.

II. Середина 1950-х – середина 1980-х гг. – время господства неосталинизма в идеологии и политике и неосталинистских трактовок истории страны в XX веке. В учебниках в основном сохранялась разработанная под руководством Сталина схема истории данного периода. Однако главные заслуги в успешном руководстве страной были отданы Ленину и партии. Но в различные годы в этой трактовке имелись определенные нюансы. В период хрущевской «оттепели» присутствовала дозированная критика «культа личности» Сталина и его злоупотреблений. Имя вождя в учебниках упоминалось редко. В последние годы «застоя» критические оценки Сталина сокращались и затем особенно в период правления Константина Черненко почти исчезли, вместо них все больше говорилось о позитивной роли вождя. Эта тенденция нарастала и была прервана в середине 1980-х гг. благодаря горбачевской Перестройке.

Но сталинистские, неосталинистские «посевы» не остались без «всходов» и в наши дни, несмотря на резкую критику Сталина в 1990-е годы. Среди различных

¹⁰⁸Потемкин П.И., и др.: История СССР. Учебник для десятого класса средней школы. Под ред. М.П. Кима. М., 1983.С. 140, 143.

причин этого – главная: непреодоленное тоталитарно-коммунистическое прошлое в сознании значительной части населения России. В исторической памяти этих слоев, особенно людей старшего и среднего возраста, образ Сталина и по сей день остается положительным. И в этом немалая роль тех исторических представлений, которые были привиты им в их школьные годы через учебники по истории.

Ян Фойтцик

Изложение истории в российских учебниках

Предметом данного анализа являются около 30 учебников и учебных пособий по истории России для общеобразовательных школ и высших учебных заведений.

Конкретные названия приведены в (неполном) списке литературы в приложении.

Выбор литературы производился не с точки зрения систематичности или репрезентативности, скорее он был определен предложением московских книжных магазинов. Тем не менее можно полагать, что и в этом случае в поле зрения попало, по меньшей мере, достаточно большое количество имеющихся на данный момент учебников по истории России XX века.

Использованные нами учебники – за одним исключением – были опубликованы между 1999 г. и 2007 г. тиражами от 2 тыс. до 10 тыс. экземпляров. Некоторые были изданы тиражом 30 тыс. (Мунчаев 1999) или 50 тыс. (Дмитренко 2000), а один учебник для 9-го класса школы, вышедший в свет еще в 1995 г., мог похвастаться тиражом в 275 тыс. экземпляров.¹⁰⁹ Четыре учебника выдержали несколько изданий: один из них был издан четыре, другой – пять раз.

Есть основание считать, что учебники кодируют национальную историческую память. Но не только это обстоятельство оправдывает актуальность данного исследования, но и тот факт, что Российская Федерация участвует в Болонском процессе гармонизации систем высшего образования стран Европы.

Наш анализ ограничивается здесь аспектами внешних отношений России после 1945 г., а конкретно – отношениями с «Западом» в целом и с государствами бывшего «Восточного блока», не входившими в состав Советского Союза – в частности.

В центре внимания находится соотношение между эмпиризмом и историзацией. Критические замечания в первую очередь касаются аутентичности представленных фактов, ясности понятий и критериев оценки, с учетом способности к обобщению оценок и логичной убедительности аргументации. Эта «установка» базируется на том соображении, что транснациональное понимание истории возможно только тогда, когда оно методически придерживается того принципа, что факты и аргументы «как за, так и против всех» имеют одинаковую силу. Только такой подход может привести к компромиссу между воспоминанием и историей в рамках дискурса, чью динамику и

¹⁰⁹ Данилов 1995.

результаты в любое время может воспроизвести и перепроверить кто угодно – и учитель, и ученик.

В ходе работы используется преимущественно системный подход, т.е. учебники сначала комментируются с позиции реципиента, который обладает не только одним единственным учебником, как это обычно бывает в школе. На следующем этапе ряд положений учебников будет подвергнут критике на основе первоисточников, преимущественно на основе русскоязычных монографий. Лишь изредка используется другая национальная историография и в исключительных случаях - западная литература.

Заданный ограниченный формат статьи predetermined подход – автор должен был действовать как селективно, так и интегративно, что существенно сократило приводимую аргументацию. В результате на переднем плане скорее критика, чем позитивные аспекты. Для того, чтобы предупредить ненужные недоразумения, следует констатировать, что особенно в изложении «внутренней» национальной истории России в учебниках достигнут значительный научный прогресс, и в то же время наблюдается заметное многообразие моделей интерпретации. Однако эти аспекты не являются темой настоящей работы.

Для того, чтобы преодолеть многообразие впечатлений, речь пойдет здесь сначала о концептуальных вопросах, а уже на втором этапе темой обсуждения станут типичные риторические изобразительные средства.

Концепты

1. Население государства, культурный народ и «Запад» как воображаемое пространство

Ряд авторов учебников разделяет точку зрения Руденко (2001, С. 326), согласно которой Советский Союз являлся формой царской империи с лишь более насильственным режимом. Но учебники не проговаривают образ «империи» буквально. В них нет ни «многонационального народа» как «носителя суверенитета и единственного источника власти в Российской Федерации», как гласит пункт первый третьей статьи Российской конституции 1993 г., ни упоминания народов, проживающих в РФ, в духе третьего пункта пятой статьи или первого пункта девятой статьи Конституции.

Россия скорее определяется как уникальное историческое явление, которое в географическом, этническом, культурном и в государственно-правовом отношении существует вне всяких границ. Россия выступает как единственный субъект истории, развивающийся и реализующийся в «историческом вакууме», который тем не менее парадоксальным образом стесняет, эксплуатирует и угрожает этому воображаемому субъекту. Правда, «Запад», который оказывается этим «вакуумом», также воображаем и безграничен, как и сама Россия. Только по отношению к России этот «Запад» функционирует опосредованно пропорционально и играет взаимодополняющую и компенсаторную роль. Идет ли при этом речь о форме выражения «негативной идентичности», о которой писал в 2004 г. социолог Лев Гудков,¹¹⁰ мы должны оставить здесь за кадром.

Воображаемая русская самобытность представляется нормой и она считается неприкосновенной. Что касается других народов, то возникает впечатление, что у них нет никакой самобытности, за ними даже не признаются права на привилегию культурной самостоятельности. Послевоенная история восточноевропейской периферии империи воспринимается как подстрочное примечание к истории центра, при этом не наблюдается зримой связи с историей советской цивилизации. В лучшем случае восточные европейцы «сами виноваты» в том, что касается их собственной национальной истории, которую они, как кажется, заполучили лишь постольку, поскольку она пересекалась с советской историей. Когда восточноевропейские страны характеризуются как «заложники геополитической ситуации» (Соколов 1999, С. 213), это стоило бы оценить как великодушные, если бы зачастую речь не шла здесь только лишь о риторической фигуре речи.

Благодаря оптическому фильтру исторической семантики становится очевидным, что «Россия» определяется в учебниках системой понятий, которая восходит к словарному запасу «мирового социалистического содружества» – хотя и в форме, лишившейся отношения к социалистической утопии.

Общее еще вчерашнего политического эгоцентризма представляется сегодня как нечто особенное, как «особый русский путь» – за тем единственным исключением, что старые заезженные термины-лозунги стали табу, а их содержание стилистически подвергается квази-«секуляризации».

2. Секуляризованный универсализм

¹¹⁰ Гудков Л. Негативная идентичность: Статьи 1997–2002 гг. Москва 2004.

То, что традиционный универсализм и его мессианская конструкция конечной цели до сих пор имеют место быть, указывает изложение в учебниках «Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Победа 9 мая 1945 г. выступает важнейшей ключевой точкой, которая легитимирует и связывает последующую историю с предысторией победы, начиная с 1917 г. В современном политическом этногенезе победа в войне является источником преобразования советского народа в русский народ, а также гражданского общества – в нацию. Также наоборот. Победа в «Великой Отечественной войне» является неиссякаемым источником национальной идентичности, а 9 мая, «День Победы – главный праздник нашей страны, поистине гражданский и по-настоящему народный. Возможно, единственный оставшийся, который объединяет родившихся в СССР»¹¹¹ Реминисценции, отсылающие нас к русскому славянофильству XIX-го века, возникают здесь невольно, но, как кажется, отнюдь не случайно.

В то время как учебники представляют «основную линию» объективно, в сфере исторической памяти роль победы все растет: шесть европейских стран, освобождение которых описано в учебниках, уже превратились с тех пор в речах политиков в одиннадцать, а один бывший генерал даже поименно назвал двенадцать освобожденных СССР стран.

Разница присутствует в стилистическом выражении эмоций. Так, для Руденко (2001) это была не только «справедливая освободительная война советского народа за свободу и независимость нашей Родины против фашистской Германии» (С. 332), что соответствовало тогдашнему современному толкованию, но и «самое большое событие в истории 20 столетия» (С. 357). Победу Советского Союза над Германией Дмитренко (2000, С. 347) и Мунчаев (2002, С. 428) связывают непосредственно со спасением мировой цивилизации.

Здесь обращают на себя внимание два образца антиисторической аргументации:

Во-первых: Термин «советский народ» был выработан только при Леониде Брежневе как «феномен развитого социализма». Среди «народов Советского Союза», так гласила тогдашняя языковая норма, Сталин в 1945 г. отвел ведущую роль русскому народу. В результате ретроспективного соединения этого «объективного высказывания одного грузина», как утверждают два автора, с конструктом «советский народ»,

¹¹¹ Цветкова В. Вспомнили пехоту. И родную роту... // Независимая газета. 16 мая 2008 г. С. 18.

«советский народ» и «русский народ» становятся синонимами. Ведь победа была следствием «единства морального духа советского народа», пишет Филиппов (2007. С. 8) и подкрепляет это заявление эмпирико-исторической ссылкой на то, что в годы Холодной войны «ужесточение <сталинского> режима ощущал на себе каждый гражданин СССР» (С. 36).

Во-вторых: универсально-историческая икона «спасения мировой цивилизации» противоречит высказыванию Иосифа Сталина, говорившего в традиции Александра I лишь о «спасении европейской цивилизации».

Что же касается лозунга «спасения мировой цивилизации», то речь идет не о словотворчестве Георгия Маленкова образца 1954 г., которое потом переняли Никита Хрущев и его преемники в качестве центральной языковой нормы, как это было, если судить по русским источникам, а о заимствовании лейтмотива предвыборной кампании Дуайта Д. Эйзенхауэра образца 1952 г.: им подразумевалось «спасение американского стиля жизни („*american way of life*“») от ядерного разрушения. С этой фактической ошибкой можно было бы легко смириться. Но когда Филиппов в своей «Книге для учителей» 2007 г. пишет о том, что Эйзенхауэр только в 1959 г. при советском содействии осознал, что «использование ядерного оружия невыносимо», то это уже неприемлемо (С. 130). Подобные ложные умозаключения встречаются в учебниках неоднократно, и не всегда эти выводы звучат так безобидно, как здесь.

3. «Запад» и «Холодная война»

Все авторы исходят из того, что СССР вынес на своих плечах главную тяжесть войны, и сегодня 2/3 всех российских граждан верят, что СССР выиграл бы войну и без союзников. Сталин, как известно, думал иначе. Согласно Узнародову (2002. С. 247), западные державы якобы уже в Тегеране отказались от своей позиции «по многим пунктам Атлантической хартии». Что из себя представляла Атлантическая хартия, ученик не имеет возможности узнать из учебника. Руденко констатирует, что Сталин уже с 1939 г. сделал ставку на политику силы, территориальную экспансию и создание зон влияния, поскольку посчитал коллективную безопасность невозможной на практике (2001. С. 364). И все же почему-то автор также пишет о том, что инициатива в развязывании «холодной войны» принадлежала Западу, поскольку растущая мощь СССР была для него «неприятным сюрпризом» (Руденко 2001. С. 359).

Согласно Мунчаеву (1999), США после войны попытались заполнить своим влиянием «вакуум силы», возникший в Центральной и Юго-Восточной Европе, для того, чтобы оказывать давление на СССР. Это утверждение является бесспорно ложным, как констатируют все восточно-европейские историографии. Примечательно то, что почти все учебники ни ни словом не упоминают о том, что СССР уже в период с 1943 г. по 1947 г. связал восточно-европейские страны договорами «о дружбе и помощи». В отличие от других авторов, которые актуализируют вариант толкования санитарного кордона (*Cordon sanitaire*), направленного против СССР, Зуев (2003. С. 531) представляет в целом приятное исключение – если не принимать во внимание ошибки, согласно которым договоры были заключены только в 1945–1948 гг., а советские войска введены в Чехословакию уже в 1948 г. (С. 533). В этой связи он пишет о «формировании у западных границ СССР “сферы безопасности”». Хронологические и фактографические ошибки, которые допускает Ходяков (2004. С. 330) при обращении к плану Маршалла – он неоднократно «опечатывается» во указании года.

Еще одна деталь заслуживает упоминания: Соколов (1999) выступает против «публичной критики Запада» в отношении насильственной репатриации и обращения с «бывшими предателями Родины» и ссылается при этом ошибочно на законы военного времени, которые якобы предусматривали за такие преступления смертную казнь (С. 120 и далее). Но почему-то им конкретно не приняты во внимание советская амнистия 1955 г. и Указ президента РФ 1995 г., реабилитировавшие эти группы лиц. На двух-трех страницах автор неоднократно изворачивается, в итоге завершая тему утверждением, что традиция осуждения насильственной репатриации «даже из Рузвельта и Черчилля сделала соучастников сталинских преступлений» (С. 121). Руденко (2001. С. 362) опровергает это. Мунчаев (1999) также дает пояснение, согласно которому «Холодная война» позволила Сталину «проводить политику „осажденной крепости“», необходимое ему для укрепления режима личной власти, тем самым причинив вред Советскому Союзу (С. 663, 665; 2002. С. 502). Однако «после XX съезда КПСС (1956 г.) начался демонтаж „железного занавеса“» (2002. С. 504).

В учебнике Горинова рассказывается о планах американского военного ведомства атомного удара на Советский Союз в 1949 г. и последующую оккупацию его в 1957 г. (Горинов 2004. С. 494 и С. 503). Согласно Ходякову, эти планы уже

вынашивались в 1948 г. (2004. С. 330), а Филиппов даже называет точную дату – 3 ноября 1945 г. (2007. С. 14). Однако в 1950 г. американцы, согласно Филиппову, все еще не знали, «какие военные и политические последствия мог бы иметь атомный удар по СССР» (С. 55). Только мужество советского населения устрасило США, а советское атомное оружие спасло мир от Третьей мировой войны. То, что атомное оружие было поставлено на вооружение Советской армии только начиная с 1954 г., мы читаем у Руденко (2001. С. 366). Однако это не мешает ему утверждать несколькими страницами ниже, что США не использовали атомное оружие в Корейской войне (1950–1953 гг.) из страха перед ответным советским атомным ударом (Руденко 2001. С. 373).

По этому вопросу у авторов нет принципиальных разногласий: все едины, что советская атомная бомба неоднократно спасала мир от Третьей мировой войны, тем самым спасая мировую цивилизацию. Ссылка на то обстоятельство, что еще в 1950-е годы 75 % всего советского урана поступало из ГДР и ЧСР, в учебниках отсутствует.

Метод подачи материала

Уже на первый взгляд обращает на себя внимание использование в учебных текстах риторических средств стиля и суггестивно-эмоциональных образов. К этому также относятся вербальные полемические пируэты и склонность к спекуляциям, причем временами читателю преподносятся не существующие доказательства. «Западные источники» при этом удивительным образом расцениваются как особенно надежные доказательства – в ряде случаев эти источники виртуальны. Однако в первую очередь нашего внимания в учебниках заслуживает обхождение с числами, терминология и использование правовых принципов в качестве методологической ориентации.

1. Сколько это - много и сколько – мало?

В результате Великой Отечественной войны Советский Союз лишился трети своего «национального состояния» (Жуковский 2001. С. 62) или соответственно 30 % «национального богатства» (Безбородов 2004. С. 174; Филиппов 2007. С. 20), а при Брежневе СССР тратил ежегодно на вооружение от 45 % до 70 % «национального достояния» (Жуковский 2001. С. 81) – коварная арифметическая задачка не только для ученика.

Примерно одинаковая в ценностном выражении сумма в размере около 12 млрд. долларов США оценивается как незначительная, если речь идет о поставках в СССР по ленд-лизу¹¹² (Данилов 2003. С. 238), или, напротив, как «колоссальная», если речь идет об «экономической помощи в размере 12,4 млрд. долларов», оказанной США Западной Европе (Ходяков 2004. С. 329, ошибочно называет 17 млрд.).¹¹³

«Колоссальная помощь», которая с 1948 г. по 1952 г. в рамках плана Маршалла была предоставлена Западной Германии – речь идет о кредите в размере 1,4 млрд. долларов США, стоимость которого равнялась приблизительно годичной стоимости оккупационных расходов или конкретно составляла 23 доллара на каждого жителя – смогла быть возмещена «только благодаря прилежанию и энтузиазму населения». Если же это старый штамп пересчитать на основании немецких трансфертных платежей для бывшей ГДР, то это имело бы своим последствием такой «дефицит энтузиазма», с которым не смирился бы ни один учитель.

Из учебников также следует, что план Маршалла вынудил Советский Союз для защиты своих «идеологических интересов» – что это такое, школьник так и не узнает – «инвестировать значительные средства» в страны народной демократии. Соколов (1999. С. 134), Руденко (2001. С. 368) и Данилов (2003. С. 240) называют сумму кредитов, предоставленных народным демократиям за годы с 1945 по 1952 – 15 млрд. рублей (или соответственно три млрд. долларов по официальному обменному курсу).

Эта «огромная материальная помощь» СССР не подкрепляется доказательствами и за исключением помощи, оказанной Китаю, не называется конкретно. Путаница терминов возникает зачастую уже потому, что на одной и той же странице книги речь недифференцированно идет то о всей «мировой социалистической системе», включая Китай, Вьетнам, Корею, Кубу, то исключительно об восточноевропейской периферии в составе Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Критически следует заметить расхождение в цифрах, известных до сего момента, а также тот факт, что учебники внушают, будто только советская зона оккупации/ГДР выплачивала СССР репарации. Данные об их размере заимствуются из газеты «Правда» 1953 г., хотя с тех пор по теме написаны стопы книг.

¹¹² Закон о ленд-лизе (*Lend-Lease Act*), принятый конгрессом США 18 февраля 1941 г., дал возможность США, сохранявшим нейтралитет до конца 1941 г., снабжать Великобританию и Канаду, а после немецкого нападения 22 июня 1941 г. также и Советский Союз, материалами и оружием. Поставки формально осуществлялись в форме займов.

¹¹³ В общей сложности 13,75 млрд. См. *Hardach G. Der Marshall-Plan: Auslandshilfe und Wiederaufbau in Westdeutschland 1948–1952. München, 1994. S. 244.*

После 1956 г. Советский Союз вновь предоставил странам Центральной и Юго-Восточной Европы кредиты в размере 21 млрд. рублей. Каких-либо более конкретных данных не приводится. У Дмитренко по меньшей мере приводятся сведения о так называемом колебании цен в СЭВ (2000. С. 476), которое, начиная с 1960-х годов, привело к задолженности СССР перед Восточной Европой в размере 20 млрд. рублей.

Однако ученики могли бы прочитать к примеру у Эриха Хонеккера: из-за поднявшихся цен на нефть ГДР должна была в промежутке времени между 1975 и 1985 годами потратить на уплату СССР на 80 млрд. долларов США больше, и тем не менее долг СССР перед ГДР составлял в 1990 г. 15 млрд. долларов США.¹¹⁴ Эта сумма соответствовала всему внешнему долгу ГДР перед Западом. Западная пресса писала об этом уже в 1990 г., Хонеккер – в 1994 г., и также русская ежедневная пресса сообщила о конечном результате переговоров в отношении задолженности.

Хотя совокупная внешняя задолженность СССР и социалистических стран перед Западом в 1980-е годы была выше в 10–20 раз, чем «колоссальная помощь по плану Маршалла», предоставленная Западной Европе в 1940-е годы, она не является темой обсуждения в учебниках. Исключение составляют только западные долги Польши, но они упоминаются лишь абстрактно, поскольку Польша в конце 1970-х годов символизировала «структурный кризис системы» советской периферии и начало ее распада (Безбородов 2004. С. 223). Только Филиппов (2007. С. 454 и далее) приоткрывает занавес в отношении некоторых старых «советских» внешних долгов. В 2000 г. они составляли 177,7 млрд. долларов США. Так, долг перед Чехословакией составлял 3,6 млрд. долларов (2,5 млрд. из них были «списаны»), долг в отношении ГДР также был сокращен с 15 до 2 млрд. марок. Последнюю информацию мы не найдем в книге, об этом писала только пресса. Напротив, книга Филиппова также будит впечатление, что СССР после 1945 г. якобы дотировал Восточную Европу. Но это обстоятельство не стоит расценивать как большую ошибку, поскольку даже на Западе в отдельных случаях высказывается мнение о том, что распад СССР был следствием щедрого финансирования им «социальных диктатур» восточно-европейских сателлитов.¹¹⁵

¹¹⁴ Согласно Эриху Хонеккеру – 27 млрд. валютных марок, что соответствовало примерно 15 млрд. долларов. См. *Honecker E. Moabiter Notizen. Berlin, 1994. S. 75.*

¹¹⁵ К примеру, *Hobsbawm E. Das Zeitalter der Extreme: Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts. München, 1995. S. 316.* Здесь автор концентрируется прежде всего на расходах на вооружение. В целом см. *Stürmer M. // Die Welt. 7. Okt. 2009 г.*

Школьникам объясняется в учебниках, что народные демократии несут солидарную ответственность за голодную смерть одного (Горинов 2004. С. 506), двух (Курукин 2001. С. 258) или даже «почти трех миллионов» (Данилов 2003) «русских» в 1946–1947 гг., поскольку советские поставки зерна «дружественным режимам восточноевропейских стран выросли в пять раз» (Данилов 2003. С. 245). О какой исходной величине идет речь и какой временной промежуток затрагивало это увеличение в пять раз, в книге не упоминается. Как известно, Восточная и Центральная Европа страдали перед войной от колоссального аграрного перепроизводства.

Такие гигантские размеры «этической ипотеки» диктуют нам необходимость более внимательно посмотреть на представленные в учебниках цифры: Соколов (1999. С. 134 и С. 150) называет объем поставок зерна в Болгарию, Румынию, Польшу, ЧСР, Венгрию, Францию и советскую зону оккупации в размере 2,5 млн. тонн в 1946 г. Ходяков приводит цифру экспорта зерна в 1946 г. в Болгарию, Румынию, Польшу и ЧСР в размере 1,7 млн. тонн, что соответствовало 10 % всего годового урожая в СССР; кроме того, в указанном году СССР кроме того ввез один млн. тонн зерна из Китая (2004. С. 321). Узнардов поучает: «В голодный 1946 г. <...> в Восточную Европу <поставили> 2,5 млн. тонн <зерна>» (2002. С. 258).

Прежде всего эти цифры не подтверждаются решениями Политбюро ЦК ВКП(б). Источники свидетельствуют о заключении торгового договора между СССР и ЧСР от 13 апреля 1946 г., согласно которому в 1946 г. из СССР должно было быть ввезено 30 000 тонн зерна. Согласно другим чехословацким документам того времени, это количество зерна поставлялось в ЧСР с мая 1945 г. по декабрь 1946 г. В ходе переговоров с чехами советская сторона заявила, что в 1946 г. Польша якобы получила 300 000 и Франция – 500 000 тонн зерна (данные частично приводились в «вагонах», один вагон был, как обычно, засчитан за 10 тонн).¹¹⁶ Советская зона оккупации впервые получила из СССР в начале лета 1948 г. 22 538 тонн зерна (в 1950 г., согласно статистике, годовой урожай зерна с ГДР составил около 7 млн. тонн). Таким образом, в лучшем случае значение также имели еще 410 000 тонн зерна, поставленные в Польшу в 1947 г., и возможно – одобренные в том же году 50 000 тонн ржи для Финляндии. Едва ли имеет смысл анализировать те небольшие объемы продовольствия, которые «путем обмена» были предоставлены Болгарии и Румынии в 1945 г., поскольку обе

¹¹⁶ См. ČSR a SSSR: 1945–1948: Dokumenty mezivládních jednání [ЧСР и СССР 1945–1948. Документы правительственных переговоров] / К. Kaplan, А. Špiritová (eds.). Brno, 1997.

страны, как и Венгрия, платили СССР репарации в виде продовольствия, а кроме того, Красная Армия захватила в Восточной Европе в 1945 г. «в качестве военных трофеев» 2,26 млн. тонн зерна и 430 000 тонн мяса. Из этих продуктов только четверть была передана «дружеским государствам»,¹¹⁷ так что позднее нужно было помочь им в смягчении крайней нужды. Но такие детали здесь роли не играют. Само собой разумеется, стоит также учесть, что советские оккупационные войска, бывшие военнопленные и насильственно перемещенные лица снабжались продовольствием соответствующими европейскими странами.

Эмоциональная аргументация учебников является неудовлетворительной также по той причине, что советский экспорт продовольствия в страны Восточной Европы стал актуальным не в «голодном для России 1946 г.», а только после остановки летом/осенью 1947 г. западных поставок для «освобожденных» европейских стран, в том числе для Украины и Белоруссии, осуществлявшихся UNRRA¹¹⁸. Гуманитарная помощь этим странам была оказана на общую сумму в 5,7 млрд. долларов США. Таким образом, в 1945 и 1946 гг. из восточноевропейских стран поставлялось больше зерна в СССР, чем наоборот. Здесь мы должны констатировать наличие огромной исследовательской лакуны, устранение которой может дать точный ответ на вопрос об очевидной связи между политикой и гуманностью. По имеющимся данным, только одна Канада в 1946 г. предоставила Советскому Союзу помощь зерном в размере 1,6 млн. тонн.

Соколов доводит до крайности виртуальное моральное возмущение и проявляет недостаточную чуткость, когда выдвигает аргумент о том, что «снабжение населения Восточной Германии, включая весь Берлин <...> легло на плечи советской оккупационной администрации» (1999. С. 118), приводя в качестве примера первые нормы снабжения берлинцев хлебом в 1945 г.– по 400-450 грамм в день. Автору должно было быть известно, что такие «витринные» нормы жителям удавалось получать далеко не каждый день, а лишь два-три раза в неделю. В действительности же советская зона оккупации, в которой уровень смертности в те годы был в три раза выше, чем в довоенное время, снабжала продовольствием не только оккупационные войска, но также поставила в 1947 г. в СССР 200 000 тонн сахара и 280 000 тонн зерна.

¹¹⁷ См. Тыл Красной Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.: Документы и материалы / В.А. Золотарев и др. (изд.). М., 1998. С. 681–710, здесь С. 698 и следующие.

¹¹⁸ United Nations Relief and Rehabilitation Administration.

За такое халатное обхождение с фактами приходится платить сторицей, поскольку в Восточной Европе потребление продовольствия еще в 1950-е годы было существенно ниже, чем в довоенные годы. Сегодня там все еще вспоминают о том, что вследствие коллективизации им пришлось голодать еще двадцать лет, так как СССР только в 1962 г. начал импортировать зерно из США и Канады. Даже весьма сдержанные чехи включают в этот контекст еще и Лысенко как один из факторов голода и мимоходом указывают на то, что Польша в середине 1980-х годов производила зерна в два раза больше, чем весь Советский Союз.¹¹⁹ Согласно же Филиппову, в 1947 г. голод затронул всю Восточную Европу (2007. С. 32). Кстати общий план принадлежит к наиболее любимым перспективам русских историков, дифференцированный подход редок и не всегда является целью.

2. О системе понятий

Выборочное пренебрежение советскими и российскими правовыми нормами уже было упомянуто. Этот аспект вызывает интерес еще и потому, что приведение в соответствие международных правовых стандартов после 1945 г. в рамках наднациональных организаций последовало при активном участии СССР, и от этого нельзя так просто отделаться ссылаясь на «Запад». Это справедливо, например, для Ялтинской декларации об освобожденной Европе 1945 г. или для Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г.

Тот факт, что вторжение в ЧССР в 1968 г. ряда стран Варшавского договора, объявлено противозаконным как по законам публичного международного права, так и по нормам бывшего социалистического международного права и в соответствии со старым советским и новым российским конституционным правом, просто опускается.

В Восточном Берлине в 1953 г. прошли «двухдневные демонстрации», – пишет Безбородов (2004. С. 195). В Венгрии в 1956 г. состоялась «демократическая, антисталинская революция» (Горинов 2004. С. 551), но также и «антисоветское и антисоциалистическое восстание», «антисоциалистическая революция» (Безбородов 2004. С. 195–196). Таким образом, автор исправляет во втором издании книги свою объективную оценку образца 2001 г. Филиппов сокращает «антикоммунистическое восстание в Венгрии» до «кризиса в правящей коммунистической партии» и призывает западных радиостанций, таких как «Радио Свобода» к восстанию против

¹¹⁹ Švankmajer M. u.a. Dějiny Ruska. Praha, 1995. S. 486.

коммунистической системы и обещаниям военной помощи (2007. С. 133). Такого рода толкование событий уже полвека назад было признано следственной комиссией конгресса США советской дезинформацией, и не соответствует уровню современной российской историографии.

В 1989 г. в Восточной Европе осуществился ряд «буржуазно-демократических революций» (Ходяков 2004. С. 416), в ЧССР состоялась даже «народно-демократическая революция». Должно ли это трактоваться как регресс по направлению к 1848 году или к 1948 году, молодым людям дано решать самостоятельно. Еще один автор представляет чехословацкого президента Эдварда Бенеша как политика, сформулировавшего концепцию «народной демократии» (Соколов 1999. С. 131). Еще в 1919 г. «Франкфуртер Цайтунг» восхваляла США как «настоящую народную демократию». И то обстоятельство, что именно консервативная католическая Чехословацкая народная партия дала своему партийному печатному органу название «Народная демократия», представляя тем самым распространенную до войны в Восточной Европе платформу аграрного движения, ни в коем случае не является признаком склонности к определенной форме «диктатуры пролетариата», а лишь указывает на то, что одни и те же выражения в разных языках могут приобретать различное значение.

Совершенно очевидно, что сравнения, сделанные на основе недостаточно дифференцированной терминологии и произвольных методических стандартов, являются весьма проблематичными. Одно, на первый взгляд, особенно ассиметричное сравнение представляет Горинов (2004. С. 502): «„охота на ведьм“ в США и странах восточного блока» в 1948–1954 гг. приводится им как доказательство «некоторых общих целей». При этом 140 американских коммунистов, подвергшихся преследованиям, сопоставляются с 577 тыс. репрессированных в Чехословакии, Восточной Германии и Польше. Это не объяснение, лишь иллюстрация собственно проблемы. Ибо «освобождение» трактуется сегодня в этих странах, говоря академическим языком, как «прерывание истории цивилизации». Исторически восточноевропейским странам также не был предоставлен демократический выбор между «Западом» и «Востоком», напротив, на их долю выпало так называемое «самоопределение» в качестве точки политической и культурной гравитации.

Резюме

Критический взгляд, ограниченный здесь лишь рядом тезисов, призван показать, что дискуссия имеет смысл. И хотя прогресс в русских учебниках не всегда последователен, он тем не менее очевиден. Особое признание заслуживает плюрализм при толковании «внутренней» советской истории. Но на изображение истории «внешних» отношений он едва ли оказывает свое позитивное воздействие.

Внимание, уделенное в учебниках «Западу», а также ранее «дружественной», а сегодня – «близкой за границе», не сопровождается особой конкретикой изложения, как правило речь идет о большей частью критическом и зачастую противоречивом изображении, особенно если сравнивать с другими национальными историографиями. Угол зрения определяется концентрацией на себе самих и своих проблемах, маленькие же страны служат в значительной мере лишь фоном для иллюстраций. Снисходительный пренебрежительный тон служит цели самоубеждения, свидетельствуя не только об объективной изоляции, но и, как кажется, даже о желании ее упрочить. Таким образом, изоляция, традиция и особый путь обуславливают и усиливают друг друга. Профессиональные достижения российской исторической науки преимущественно тенденциозно игнорируются; что касается зарубежной науки, то здесь преобладает полное игнорирование.

Тем самым углубляется пропасть между новой российской и другими национальными историографиями региона, эти противоречия даже проявляются в отношении старой партийно-официальной историографии этих стран. Несовместимость национальных исторических образов часто проявляется в русле традиционных культурных предрассудков. Вместо того, чтобы нивелировать их в процессе обсуждения, они реактивируются в процессе самореференции¹²⁰. Чем дальше страны географически расположены друг от друга, тем наблюдается большее равнодушие.

Авторов учебников не интересует жизненный мир молодежи: «Битлз», интернет, мобильный телефон, джинсы, кока-кола или «Макдональдс» вообще не упоминаются в них (однако такая же судьба постигла Кандинского, Пикассо и Шагал). Филиппов - единственный, кто упоминает «Битлз» и «Роллинг Стоунз» (2007. С. 253). Реакцией на «ложный мир», на понятийную разницу между реальным миром и миром учебы могут быть только «двойные смысловые стандарты». И хотя в

¹²⁰ Самореференция (самоотносимость) – явление, которое возникает в системах высказываний в тех случаях, когда некое понятие ссылается само на себя. Прим. переводчика.

России об этом громко сожалеют, но, похоже, такой подход до сих пор практикуется в школе.

Приложение: список литературы (неполный):

- Барсенков 2005 *Барсенков А.С., Вдовин А.И.* История России: 1917–2004. Учебное пособие. М., 2005. 816 с. Тираж: 5 000.
- Безбородов 2001 *История России в новейшее время: 1945–2001. Учебник для студентов высших учебных заведений / Под ред. А.Б. Безбородова.* М., 2001. 510 с. Тираж: 10 000.
- Безбородов 2004 *История России в новейшее время. Учебник для вузов / Под ред. А.Б. Безбородова.* М., 2004. 416 с. Тираж: 5 000.
- Данилов 1995 *Данилов А.А., Косулина Л.Г.* История России: XX век. Учебник для 9 класса общеобразовательных учреждений. М., 1995. 366 с. Тираж: 275 000.
- Данилов 2003 *Данилов А.А.: Отечественная история. Учебник для вузов.* М., 2003. 347 с. Тираж: 10 000.
- Дмитренко 2000 *Дмитренко В.П., Есаков В.Д., Шестаков В.А.* История Отечества: XX век: 11 класс. Пособие для общеобразовательных учебных заведений. М., 2000. 608 с. 4-е изд. Тираж: 50 000.
- Ермоленко 2002 *Ермоленко Т.Ф. и др.* История отечества. Учебное пособие для студентов вузов. Ростов/Д., 2002. 608 с. Тираж: 5 000.
- Жуковский 2001 *Жуковский С.Т., Жуковская И.Г.* История Отечества: XX век. Экспресс-курс. М., 2001. 112 с. 2-е изд. Тираж: 7 000.
- Зуев 2003 *Зуев М.Н.* История России. Учебник для вузов. М., 2003. 688 с. Тираж: 8 000.
- Горинов 2004 *Горинов М.М. и др.* История России с древнейших времен до конца XX века. М., 2004. 656 с. 5-е изд. Тираж: 5 000.
- Курукин 2001 *Курукин И.В.* История России IX–XX вв. Учебное пособие для старшеклассников и абитуриентов. М., 2001. 288 с. Тираж: 6 000.
- Мунчаев 1999 *Мунчаев Ш.М., Устинов В.М.* Политическая история России: От становления самодержавия до падения советской власти. М., 1999. 800 с. Тираж: 30 000.

- Мунчаев 2002 *Мунчаев Ш.М., Устинов В.М.* История Советского государства. Учебник для вузов. М., 2002. 704 с. Тираж: 6 000.
- Наринский 2004 *Наринский М.М.* История международных отношений: 1945–1975. Учебное пособие. М., 2004. 264 с. Тираж: 2 000.
- Протопопов 2006 *Протопопов А.С., Козьменко В.М., Елманова Н.С.* История международных отношений и внешней политики России: 1648–2005. М., 2006. 397 с. 2-е изд. Тираж: 3 000.
- Радугин 2003 *Радугин А.А.* Отечественная история. Учебное пособие. М., 2003. 398 с. Тираж: 10 000.
- Руденко 2001 *Руденко В.И.* Рефераты по истории отечества. Ростов/Д., 2001. 445 с. Тираж: 5 000.
- Сахаров 2005 *История России. Учебник для вузов в 2-х т. / Под ред. А.Н. Сахарова. Т. 2. М., 2005. 863 с. Тираж: 7 000.*
- Соколов 1999 *Соколов А.К., Тяжельникова В.С.* Курс советской истории: 1941–1991. М., 1999. 413 с. Тираж: 10 000.
- Узнародов 2002 *Отечественная история: 1917–2001. Учебник / Под ред. И.М. Узнародова. М., 2002. 557 с. Тираж: 5 000.*
- Филиппов 2007 *Филиппов А.В.* Новейшая история России: 1945–2006 гг. Книга для учителя. М., 2007. 494 с. Тираж: 10.000. 2-е изд. опубликовано в 2008 г..
- Ходяков 2004 *Новейшая история России: 1914–2002. Учебное пособие / Под ред. М.В. Ходякова. М., 2004. 525 с. Тираж: 5 000.*
- Шевелев 2002 *История Отечества. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под ред. В.Н. Шевелева. Ростов/Д., 2002. 608 с. Тираж: 5 000.*

Алейда Ассман

От коллективного насилия к общему будущему: четыре модели обращения с травматическим прошлым

13 апреля 2008 г. на перронах железнодорожного вокзала Штутгарта произошла задержка движения. Причиной задержки стала отнюдь не забастовка машинистов, а обнаруженная в Замковых садах Штутгарта пятисоткилограммовая английская бомба, которую теперь должна была обезвредить служба поиска и устранения боевых средств земли Баден-Вюртемберг. Эта бомба относилась к «наследству», оставленному Второй мировой войной. По разным оценкам, от десяти до пятнадцати процентов всех авиабомб, сброшенных союзниками в ходе Второй мировой войны, не детонировали, и в настоящее время они все еще находятся под землей, прежде всего в густонаселенных районах Германии. Ежегодно на немецкой земле происходят взрывы одной-двух бомб. Незадолго до происшествия в Штутгарте в окрестностях Ашаффенбурга сдетонировавшей бомбой был уничтожен роторный экскаватор. Один из экспертов лаконично отметил по этому поводу: «Пришло их время», а также добавил, что мы очевидно будем испытывать проблемы с неразорвавшимися авиабомбами Второй мировой войны еще в течение около ста лет.¹²¹ В то время как сегодня, в эпоху глобального терроризма, и без того нет недостатка в новых бомбах, в Европе дополнительно наблюдается их «извержение» из прошлого.

Эту взрывоопасное наследие я хотела бы представить в данной статье как символ той длинной тени, которую Вторая мировая война спустя 65 лет после ее окончания все еще отбрасывает на наше настоящее. Прошлое в первую очередь сохраняется в воспоминаниях, которые в свою очередь могут как обострить эту проблему, так и внести свой вклад в ее решение. Поскольку воспоминания в обращении с этим наследием войны могут привести, образно выражаясь, как к воспламенению взрывчатого вещества, так и выступить средством его обезвреживания, вопрос о функциях и качестве воспоминаний является особенно важным. В особенности негативные воспоминания об исторической травме могут стать причиной все новых и новых конфликтов, или лечь мучительной тенью на настоящее, лишая людей их жизненной силы и положительного настроения на будущее. Когда израильский философ

¹²¹ Hetrodt E. Explosion aus der Vergangenheit // Frankfurter Allgemeine Zeitung. 24. Okt. 2006.

Авишай Маргалит в своей книге «*The Ethics of Memory*» размышлял над этой проблемой, он сформулировал два возможных ответа, которые распределил между своими родителями:

МАТЬ

Евреи были уничтожены безвозвратно. То, что осталось, это всего лишь жалкая часть великого еврейского народа (здесь она имеет ввиду европейское еврейство).

Единственная почетная роль, оставшаяся евреям, состоит в том, чтобы образовать общность, связанную общими трагическими воспоминаниями, превратив себя в некое подобие свечей на помин души, которые ритуально зажигаются в память об усопших.

ОТЕЦ

Мы, оставшиеся евреи, люди, а не свечи. Это ужасное предназначение для любого человека, существовать только в качестве хранителя памяти о мертвых. Этот путь выбрали для себя армяне, и совершили тем самым большую ошибку. Мы должны избежать ее любой ценой. Лучше создать общество, которое в первую очередь думает о будущем и реагирует на настоящее, нежели общество, находящееся во власти братских могил.¹²²

После Второй мировой войны предпочтение было отдано сначала позиции отца (и не только в Израиле). В Израиле тогда речь шла о коллективном проекте основания нового государства, о возможности для выживших начать жизнь с чистого листа и о созидании будущего для следующих поколений. Но спустя четыре десятилетия все больше и больше стала преобладать позиция матери. Выжившие снова обратились к своему прошлому, которое они так долго держали от себя на дистанции. После основания государства и арабо-израильских войн израильское общество постепенно стало превращаться в ритуальную общность, нацеленную на сохранение памяти.

Авишай Маргалит парадигматически противопоставил друг другу два возможных варианта решения проблемы бремени прошлого: помнить или предать забвению, хранить прошлое или ориентироваться на будущее.¹²³ Но обсуждение проблемы больше не исчерпывается только этими двумя вариантами. Ретроспективный

¹²² *Margalit A. The Ethics of Memory. Cambridge, MA u.a., 2002. P. vii–ix.*

¹²³ Он далее делает различие между *covering up* (укрыванием) и *blotting out* (вычеркиванием из памяти) и выступает за первую форму. Изглаживание из памяти негативного опыта он не считает приемлемым вариантом, а вот его укрывание, умолчание о нем – вполне.

взгляд на вторую половину XX-го века дает нам возможность констатировать, насколько изменились формы обращения с травматическим прошлым. Различные периоды времени характеризуются весьма различными направлениями политики памяти. Ниже я хотела бы выделить четыре подобных фазы / формы в зависимости от их целевой установки:

1. Диалог забвений
2. Воспоминание, чтобы никогда не забыть
3. Воспоминание, чтобы простить и забыть
4. Диалог воспоминаний

Диалог забвений

Как уже было сказано, *воспоминания*¹²⁴ по своей природе носят принципиально двойственный характер, они ни в коем случае не приводят автоматически к примирению и компромиссу, напротив, в результате неоднократного обращения к пережитым нарушениям прав и опыту перенесенного насилия они могут поддерживать ненависть между соседями, увеличивая готовность к новому насилию. Вопрос, каким образом можно было бы, особенно в условиях политического сосуществования, покончить с этим конфликтным наследием или по меньшей мере, обезвредить его, занимал человечество веками. Первым открытием в качестве «лекарства» против конфликтного потенциала памяти стало забвение. Его применение предписывалось в Древнем и Новом мире, чтобы после гражданских войн смог осуществиться новый почин, а также для того, чтобы дать возможность вновь объединиться распавшемуся обществу. Конечно же государство не могло влиять на личные воспоминания своих граждан, но зато под страхом наказания оно вполне могло запретить публично ворошить старое и использовать застарелую боль и ненависть для того, чтобы возбуждать новую агрессию и вражду. Такая практика примирения была введена в Афинском полисе после окончания Пелопонесской войны.¹²⁵ Для этой нормы забывания даже было создано новое слово: «Mnesikakein». Оно буквально означает: «вспоминать плохое», и на языке афинского права соответствует запрету на

¹²⁴ Немецкое понятие «Erinnerung» переводится здесь и далее как «воспоминание» чтобы подчеркнуть свойственный понятию процессуальный, динамичный характер, в отличие от понятия «память» с его характером культурного статичного наследия. «Erinnerungspolitik» политическая работа в отношении воспоминания переводится далее как «коммеморативная политика». (Прим. ред.)

¹²⁵ Loraux N. La Cité divisée: L'oubli dans la Mémoire D'Athènes. Paris, 1997; Vom Nutzen des Vergessens / G. Smith, H.M. Emrich (Hrsg.). Berlin, 1996; Amnestie oder Die Politik der Erinnerung in der Demokratie / G. Smith, A. Margalit (Hrsg.). Frankfurt/M., 1997.

воспоминание как запрету на коммуникацию, тем самым представляя собой акт цензуры во имя общего блага. Такая же практика использовалась после Тридцатилетней войны. В мирном договоре 1648 г., подписанном в Мюнстере-Оснабрюке, главная формула гласила: «perpetua oblivio et amnestia». Девиз «забыть и простить», как правило, позволяет осуществить быструю политическую и социальную интеграцию; в результате широкомасштабной амнистии происходит нейтрализация предмета конфликта между бывшими враждующими фронтами.

Также после Второй мировой войны лечебное средство забвения было использовано еще раз, чтобы заново воссоздать западногерманское общество и упрочить мир в Европе. Германн Люббе ввел в 1983 г. термин «коммуникативное замалчивание».¹²⁶ Эта практика замалчивания поддержала «коричневую» преэминентность бюрократических элит, которая в свою очередь, с согласия союзников, в условиях холодной войны помогла западногерманскому обществу достичь быстрого восстановления. Однако «коммуникативное замалчивание» практиковалось после войны не только в Германии, но и на международном уровне, как это показал политолог Тони Джадт. К примеру, Шарль де Голль и Конрад Аденауэр принимали совместные парады, а в 1962 г. вместе посетили торжественную мессу в Реймском соборе. Тем самым через все национальные границы был дан сигнал примирения и прощения как в военном, так и в религиозном формате. Историческое место действия для этого было также выбрано далеко не случайно: в городе Реймсе на севере Франции 7 мая 1945 г. была подписана капитуляция Германии, здесь со своей штаб-квартирой расположился генерал Дуайт Дэвид Эйзенхауэр. Религиозный ритуал очищения имел важное политическое значение: диалогическое забвение ускорило возвращение Западной Германии в западноевропейский союз. В таких условиях в 1950-е – 1960-е годы удалось, прежде всего благодаря забвению, удалить или обезболить бремя травматического и преступного прошлого.

Воспоминание, чтобы никогда не забыть

Эта символическая политика натолкнулась на жесткую противостояние 5 мая 1985 г. в городе Битбурге: здесь, на солдатском кладбище, где также захоронены солдаты СС, Гельмут Коль и Рональд Рейган попытались провести ритуал забвения и

¹²⁶ *Hermann Lübke: Der Nationalsozialismus im politischen Bewusstsein der Gegenwart // Martin Broszat u.a. (Hrsg.): Deutschlands Weg in die Diktatur. Internationale Konferenz zur nationalsozialistischen Machtübernahme im Reichstagsgebäude zu Berlin. Referate und Diskussionen – Protokoll. Berlin, 1983, S. 329-349.*

прощения, что вызвало волну критики.¹²⁷ Таким образом 1985 год, за четыре года до политических перемен всемирного значения, стал ключевым моментом поворота от забывания к воспоминанию. Вслед за скандалом Битбурга последовала речь президента Рихарда фон Вайцзеккера, посвященная 40-й годовщине капитуляции Германского рейха 8 мая;¹²⁸ одновременно энтузиастами в Берлине были проведены произвольные раскопки на месте будущего Документационного центра «Топография террора»¹²⁹, годом позднее последовал т.н. «спор историков». Этот поворот изменил рамочные условия в культуре и политике Западной Германии с «забывания» на «воспоминание». Термин «культура воспоминания», который до сих пор не был известен, стал между тем ключевым понятием во всем мире. Он заменил собой старые лозунги 1950-х – 1960-х годов, такие как «подвести итоговую черту», «овладение прошлым» и «возмещение», которыми в ФРГ сопровождалась политика самопрощения и забвения.¹³⁰ Эти девизы характеризуют собой позицию целого поколения немцев, которое было убеждено в том, что широкая общественная реинтеграция бывших нацистов поможет модернизации общества, а выплата компенсаций даст возможность избавиться от исторической вины в обозримом будущем. Но эти предположения уже не разделялись следующими поколениями, которые выросли в климате новой, распространяющейся в международном масштабе «культуры воспоминания», и они внесли свой вклад в дело ее последовательной «пересадки» в немецкое общество.

Новая культура воспоминания, укоренившаяся в школах и мемориалах и представленная на всеобщее обозрение в музеях и на выставках, перенесла травматический центр тяжести с памяти о Второй мировой войне на воспоминание о Холокосте. Это событие, «затерявшееся» среди других страшных событий «деформированного времени» 1939–1945 гг., только спустя десятилетия стало раскрываться, становясь предметом судебных разбирательств, исторических исследований, темой обсуждения в СМИ и объектом социальной памяти. Стабилизация

¹²⁷ Bitburg in Moral and Political Perspective / G.H. Hartman (ed.). Bloomington, 1986.

¹²⁸ Richard von Weizsäcker: Von Deutschland aus. Berlin, 1985, S. 11-35.

¹²⁹ С 1933 г. по 1945 г. на территории нынешнего Документационного центра «Топография террора» располагались штаб-квартира гестапо, гестаповская тюрьма и, начиная с 1939 г., – штаб-квартира Главного управления имперской службы безопасности, и, кроме того, штаб-квартира рейхсфюрера СС. (Прим. пер.)

¹³⁰ Frei N. Vergangenheitspolitik: Die Anfänge der Bundesrepublik und die NS-Vergangenheit. München, 1996; Wolfrum E. Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland: Der Weg zur bundesrepublikanischen Erinnerung: 1948–1990. Darmstadt, 1999.

памяти о Холокосте на основании своеобразного «коммеморативного договора» между немцами - как потомками преступников и евреями – как выжившими и потомками жертв, была исторически новым ответом на абсолютно беспрецедентную по своим масштабам и по своему проведению акцию массового убийства евреев, жертвой которой стали также другие этнические и социальные, мировоззренческие группы. Завоевав такое парадигматическое значение, воспоминание о Холокосте между тем утвердилось также и в глобальных рамках, приобретя качество светско-религиозного признания прав человека и отторжения расизма. Сверх этого, оно приобрело характер международной модели, руководствуясь которой другие пострадавшие группы выстраивают и выверяют свои притязания, а также придают образ своим собственным травматическим воспоминаниям.

Забвение при определенных условиях может выступать лекарством, облегчающим бремя прошлого, однако оно совершенно точно не является панацеей. Забвение имеет смысл в случае, если насилие применялось обеими сторонами симметрично, или если речь идет о создании нового альянса в новых политических условиях, но оно терпит фиаско там, где речь идет об асимметричном соотношении экстремального применения насилия. Известно, что в случае с Холокостом возможность «начать с нуля» появилась не в результате подведения итоговой черты, а наоборот, именно в результате готовности к совместному воспоминанию. В подражание «общественному договору» Руссо мы можем говорить здесь о своеобразном «договоре о воспоминаниях», заключенном между преступниками и жертвами. Травма может только в том случае выступить основой совместного будущего, если жертвы не будут оставлены один на один с их воспоминаниями, а их перспектива видения случившегося с «анамнестической солидарностью» (Иоханн Баптист Метц) разделяется потомками преступников. Неотъемлемыми составными частями такой культуры воспоминаний выступают признание страданий и чествование как погибших, так и выживших, в процессе восприятия свидетельств. Поскольку этот процесс воспоминания стал как для жертв, так и для преступников решающей частью их самоидентификации, он ориентирован на продолжительное будущее, а также приобрел форму светско-религиозного исповедания: вспоминать, чтобы не забыть.

Воспоминание, чтобы простить и забыть

Мы на собственном опыте в течение последних десятилетий пережили, как перед лицом травматического прошлого стрелки культурных ориентиров общества все радикальнее переводились с «забвения» на «воспоминание». Однако мы должны здесь еще раз подчеркнуть, что различаем две формы воспоминания: первая представляет собой по сути этнически обоснованную культуру памяти, которая возводит травматическое прошлое *ex negativo* в ранг стойкой нормативной инстанции, стремясь тем самым эффективно воспрепятствовать забыванию, в то время как вторая выступает скорее в качестве культуры воспоминаний, имеющей стратегическое или терапевтическое обоснование, которая в конечном итоге стремится «к забвению», однако исходит из того, что путь к этой цели ведет через воспоминание. В этом случае воспоминание приобретает терапевтическую, облагораживающую и очищающую функцию; оно больше не выступает конечной целью и смыслом само по себе, но в качестве важного и незаменимого промежуточного шага. Культура в целом богата примерами «переходящих» воспоминаний такого рода. Так, например, при христианской исповеди вспоминают, чтобы забыть: грехи должны быть перечислены и произнесены вслух, прежде чем священник сможет отпустить их. То же самое происходит в случае с художественным процессом катарсиса: в результате реинсценирования на сцене театра болезненного события горе прошлого переживается еще раз, тем самым происходит его преодоление. Группа, которая испытывает такое переживание, по теории Аристотеля, «очищает» себя от этого опыта. Забвение как результат воспоминания также в целом выступает целью фрейдистского психоанализа, который еще раз вызывает в сознании омраченное прошлое, чтобы тем вернее больной вслед за этим мог оставить его позади себя. Аналогичную терапевтическую функцию воспоминание как путь к забвению приобретает также в результате новой общественно-политической процедуры: болезненная правда должна еще раз стать достоянием общественности, жертва должна получить возможность рассказать о своих страданиях и утратах, которые должны быть выслушаны обществом с осознанным сопереживанием и получить признание, чтобы в конечном итоге быть удаленными из социальной или политической памяти. По такому принципу были организованы трибуналы «Truth and Reconciliation Commission», которая под эгидой епископа Десмонда Туту и Алекса Борейна превратилась в смесь трибунала, очищающей драмы и христианского ритуала покаяния.¹³¹

¹³¹ Речь идет о так называемой «Комиссии правды и примирения» – южно-африканской институции,

В настоящее время во всем мире действует около тридцати «Комиссий правды», причем их процедурные правила каждый раз устанавливаются заново. И хотя элемент J (Justice) в этом переходном процессе системной политической трансформации ни в коем случае не опускается, тем не менее элементу T (Truth) придается совершенно особое значение. Эта форма коммеморативной политики характеризуется не желанием укрыть прошлое покрывалом и не ворошить его, а стремлением обсуждать случившееся в широком социальном пространстве, признать его и принять обществом к сведению. Поскольку эти комиссии ориентированы на примирение и интеграцию, мы можем рассматривать их как новую форму «овладения прошлым», призванную помочь преобразованию диктатур и других режимов, нарушавших права человека, в демократию.¹³² Первой жертвой любой войны считается правда, и это утверждение особенно справедливо для случаев асимметричного насилия в таких преступлениях против человечности, как рабство, колониализм, геноцид и сталинский террор. В этих случаях историческая правда зачастую остается тем единственным, что спустя годы, десятилетия, а отчасти и спустя столетия унижения, эксплуатации, истребления и систематического уничтожения все еще поддается восстановлению. Наряду с правовыми средствами осуждения, наказания и реституции, которые по причине длительного временного промежутка зачастую больше не применимы, здесь особое значение приобретают именно такие символические средства, как общественное признание вины и выражение раскаяния. В обществах, расколотых под впечатлением пережитой травмы, путь к правовому государству и интеграции проходит через воспоминание и осмысление преступного прошлого. От бремени прошлого можно избавиться именно в форме политических ритуалов, выражающим раскаяние и сочувствие воспоминаниям жертв; вслед за этим возможно «новое начало», и даже травматическая история может отойти в прошлое.

Модель «комиссий правды» была изобретена в Южной Америке, где такие страны как Чили, Уругвай, Аргентина и Бразилия пережили в 1980-е – 1990-е годы

созданной для расследования политических преступлений эпохи апартеида. Комиссия функционировала в 1996–1998 гг. при поддержке президента ЮАР Нельсона Манделы под председательством лауреата Нобелевской премии мира, епископа Десмонда Туту. Аналогичные, так называемые «Комиссии правды» учреждались, начиная с 1980-х годов, во многих странах мира после перехода от диктатуры к демократии. (*Прим. пер.*)

¹³² Обзор данной деятельности приводит Пьер Азан. См. *Hazan P. Das neue Mantra der Gerechtigkeit // Der Überblick*. 2007. Н. 1–2 (немецкий журнал, освещающий политику помощи развивающимся странам, его тематический номер за май 2007 г. посвящен проблеме восстановления справедливости после завершения конфликтов).

процесс преобразования из военной диктатуры в демократию, в ходе которого жертвы диктатур сделали актуальной парадигму прав человека и образовали на этом ценностном основании новые политические термины, такие как «нарушение прав человека» и «государственный терроризм». В свою очередь на базе этого были учреждены следственные комиссии, из которых позднее вышли «комиссии правды». Последние подчеркивали трансформирующую силу исторической правды и значение активной деятельности в области воспоминаний. «Помнить, чтобы это не повторилось» – этот манифест повсеместно превратился в политический и культурный императив. При помощи парадигмы прав человека был создан новый и влиятельный дискурс, связанный с воспоминаниями жертв, заменивший традиционные политические нарративы классовой борьбы, национальных революций и политических антагонизмов. Теперь в центре всех ценностей оказалась универсальная ценность человеческого достоинства в смысле физической и социальной неприкосновенности личности. Вместе с этими универсалистскими ценностями возникла новая политическая повестка дня, допускающая также критику других форм государственного насилия, таких как расовая или половая дискриминация, а также угнетение автохтонных народов. Эта ценностная трансформация стала одним из важнейших символических ресурсов, призванных внедрить понятие «преступление против человечности» в глобальное правовое сознание. Всемирное выступление в защиту жертв насилия играет такую же роль для конца XX-го – начала XXI-го века, какую для XIX-го века сыграло межнациональное движение за отмену рабства. При этом самым важным отличием выступает то, что теперь жертвы могут говорить от своего собственного имени и требовать, чтобы мир, переживающий глобализацию, считался с их правом на признание и воспоминание. Тот факт, что их голоса становятся все более слышимы, и их вес в обществе набирает силу, способствовал созданию определенного барьера для национальных или государственных авторитарных властей в попытках продолжения осуществлять репрессивной политики забвения и вытеснения.

То, что дискурс прав человека расширяется глобально и вместе с ним и культура памяти, подтверждает и факт акций публичного покаяния глав государств и других политических функционеров высокого ранга, в которых они просят прощения у жертв террора. В свете этой практики, возникшей в 1990-е годы и продолжающей существовать сегодня, национальные государства представляют себя на глобальной арене как лица и сообщества с высокой степенью моральной этики, осознавшие свою

ответственность. И в этом случае мы также имеем место с новой формой культуры памяти, которая в рамках парадигмы прав человека вновь интенсивно размышляет о вине и негативных эпизодах собственной истории.

В обществах, переживших диктатуру, воспоминание является условием социального преобразования, которое должно осуществляться вслед за преобразованием системы, поскольку политический переход должен быть дополнен и углублен общественной трансформацией. Внутри новых рамок практики и ритуалы воспоминания могут стать толчком к процессу осмысления преступлений прошлого, тем самым приведя к их признанию, а также примирению, а потом по возможности также и к забвению. Забвение в этом контексте означает овладение прошлым: его цель заключается в том, чтобы справиться с историей насилия, оставить ее позади себя, чтобы добиться шанса на общее будущее.

Диалог воспоминаний

Моя третья модель, вспоминать, чтобы простить и забыть, относится к тем государствам, которые пережили либо трансформацию ценностей, либо системное изменение из диктатуры в демократию, и при этом должны добиться решения сложнейшей задачи – настроить население, расколотое на преступников и жертв, на общий ценностный консенсус. Моя четвертая и последняя модель применима к ситуациям, которые выходят за данные национальные рамки. Речь идет о коммеморативной политике между двумя или более государствами, связанными друг с другом совместной историей насилия. Два государства развивают диалогическую модель воспоминаний, если они в одностороннем или двустороннем порядке признают свою долю участия в травматической истории другого государства и путем сочувствия включают чужие страдания в свою собственную память.

Как правило, национальная память организована в форме монолога; она была создана в XIX веке, чтобы выступать опорой и рупором национальной идентичности. Поэтому призма национальной памяти всегда имеет тенденцию к тому, чтобы сужать историю к прославленному, почетному или, по меньшей мере, приемлемому фрагменту. Перед лицом травматического прошлого обычно имеются лишь три санкционированных роли, которые может принять национальная память: роль *победителя*, выигравшего схватку со злом, роль *борца* сопротивления и мученика, сражавшегося против зла, и роль *жертвы*, пассивно перенесшей обрушившееся на нее

зло. Все, что лежит за пределами этих позиций и присущих им перспектив, не может быть объектом признанного нарратива или становится таковым лишь с большим трудом, и поэтому «забывается» на официальном уровне.

После окончания холодной войны и открытия архивов исторический образ Европы стал более сложным. Произошло несколько коммеморативных толчков, в результате которых Холокост оказался внедрен в общее сознание, а устоявшиеся позитивные национальные представления о себе заколебались. На основании новых документов о режиме Виши и истории антисемитизма в Восточной Германии Франция и ГДР перестали быть исключительно борцами сопротивления; после скандала по делу Курта Вальдхайма¹³³ и дебата о Едвабне¹³⁴ Австрия и Польша перестали быть только жертвами, и даже союзники были вынуждены считаться с тем, что после дебата о воздушных налетах, насильственных переселениях и изнасилованиях они перестанут играть роль в истории исключительно в качестве победителей. Воспоминания разного толка поднялись на поверхность и стали предметом дебатов, особенно те, что ставят под вопрос однозначность и исключительность царящего нарратива. В то время как в Западной Европе новые дебаты о коллаборационизме и индифферентности в отношении главного преступления – Холокоста – привели к кризису конструкций национальной памяти и частично усложнили их, то в Восточной Европе после краха Советского Союза возник политический вакуум, который был постепенно заполнен новыми национальными конструктами памяти. Сегодня, как и прежде, в области национальной памяти заметен дисбаланс: собственное горе занимает больше места чем страдания, которые были причинены другим.

Марк Блок уже в 1920-е годы подверг критике монологический характер национальной памяти. В частности, он писал: «Давайте на веки вечные прекратим болтать о наших национальных историях, не понимая друг друга». Блок также говорил о «диалоге тугих на ухо, в котором каждый отвечает невпопад на вопросы другого».¹³⁵ Национальная память немцев сегодня ни в коем случае не существует больше изолированно, напротив, она неразрывно связана с национальной памятью других народов. Если рассматривать ее из перспективы Холокоста, то она выступает частью

¹³³ Речь идет о международных дебатах по вопросу предполагаемого участия генсека ООН (1972–1981) и будущего федерального президента Австрии (1986–1992) Курта Вальдхайма в военных преступлениях во времена национал-социализма. (Прим. пер.)

¹³⁴ В результате еврейского погрома в польском городе Едвабне, устроенном поляками 10 июля 1941 г., были зверски убиты сотни евреев. (Прим. пер.)

¹³⁵ Alles Gewordene hat Geschichte: Die Schule der Annales in ihren Texten: 1929–1992 / M. Middell, St. Sammler (Hrsg.). Leipzig, 1994. S. 159.

мировой памяти, а из перспективы Второй мировой войны – частью общеевропейской памяти. Европейская интеграция не сможет в действительности развиваться, пока и дальше будут укрепляться монологические конструкции национальной памяти. Именно в этом контексте я хочу представить мою четвертую модель – «диалог воспоминаний». При этом речь ни в коей мере не идет о повсеместно практикуемой форме «переработки» совместной истории насилия, а о большом культурном и политическом шансе, который несет в себе проект единой Европы. Диалог воспоминаний означает здесь взаимную связь и фрагментацию слишком унифицированных конструкций памяти вдоль национальных границ.¹³⁶ Положение дел в Евросоюзе предлагает уникальную возможность для перестройки монологических конструкций в диалогические. Психолог Александр Митчерлих однажды заявил о «давно назревшему обращению к прошлому по принципу реальности», которая сегодня может быть форсирована в Европе при условии взаимного сближения.¹³⁷ В свою очередь Ричард Сеннетт подчеркнул, что необходимо многообразие противоречащих друг другу воспоминаний, чтобы произошло признание неприятных исторических фактов.¹³⁸ Именно в этом заключается особый потенциал, которым обладает европейская среда «воспоминаний», и который до сего момента использовался лишь частично.

Европейский союз сам является следствием Второй мировой войны и в то же время – ответом на нее. Становится все более очевидным, что травматическое наследие этой совместной истории насилия не может дальше обрабатываться с применением ограниченной грамматики традиционных национальных конструкций памяти. В этой истории присутствует много такого, что известно историкам, но что не находит места в национальной памяти, поскольку для этого отсутствовало давление со стороны притязаний личности или политического императива. К этому относятся многие злодеяния Второй мировой войны, причиненные немцами своим соседям, о которых те в свою очередь помнят очень хорошо. В то время как память о еврейских жертвах стала частью международной культуры воспоминания и за счет этого проникла во всеобщее сознание, подрастающие поколения в Германии практически ничего не знают о

¹³⁶ См. по этому поводу подробнее: *Assmann A. Europe: A Community of Memory?: Twentieth Annual Lecture of the GHI. 16 Nov. 2006 // German Historical Institute Bulletin 40 (Spring 2007). P. 11–25.*

¹³⁷ *Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit zu Trauern: Grundlagen kollektiven Verhaltens. München, 1977. С. 365.*

¹³⁸ *Sennett R. Disturbing Memories // Memory / P. Fara, K. Patterson (Hrsg.). Cambridge u.a., 1998. P. 10–26, здесь p. 14.*

польских или русских жертвах ведения войны немцами. В то время как бомбардировки Дрездена прочно укоренились в немецкой национальной памяти, в Германии едва ли что-нибудь знают о разрушении Варшавы немцами или о жертвах Варшавского восстания, которое зачастую путают с восстанием в Варшавском гетто, ставшим известным в результате знаменитого коленопреклонения Вилли Брандта. Не нашла себе места в немецкой исторической памяти также блокада вермахтом Ленинграда в 1941–1944 гг., одна из самых продолжительных и разрушительных «осад» новейшей истории, в ходе которой от голода умерло около миллиона граждан Советского Союза.¹³⁹ Однако и эти события составляют значительную часть наследия прошлого и будут в долгосрочной перспективе влиять на внутреннюю диалог о прошлом в Европе. Они также представляют собой европейские “*lieux de mémoire*“, но при этом не являются материалом для школьных учебников и не находят ни упоминания в общественных обсуждениях, ни символической репрезентации в публичном пространстве.

В другой своей работе я однажды сформулировала «Правила коммуникативного обращения с воспоминаниями». Здесь я хотела бы привести лишь одно из них: правило *контекстуализации*. Под контекстуализацией я подразумеваю способность включать пережитое и вспомненное в более широкий исторический контекст. Этот процесс может осуществляться только задним числом и представляет собой когнитивный результат исторического образования и исторического сознания. Ретроспективное включение в исторический контекст не требует умалчивания локальной, частной правды. Но после того, как эта правда была озвучена и признана обществом, она может быть включена в более широкий горизонт. Благодаря данной контекстуализации, эти воспоминания могут получить новое толкование, и, таким образом, стать совместимыми с другими воспоминаниями. Этот процесс не имеет ничего общего с фальсификацией, напротив, он связан с расширением горизонтов.¹⁴⁰

¹³⁹ *Jahn P.* 27 Millionen // Die ZEIT. 14. Juni 2007.

¹⁴⁰ В качестве самого значительного примера я хотела бы привести так называемую формулу Фауленбаха, названную по имени историка Бернда Фауленбаха. Последний в составе следственной комиссии по изучению прошлого ГДР занимался проблематикой воспоминаний в отношении преступлений «двух немецких диктатур». Его формула, которая помогла комиссии преодолеть взаимное блокирование, состояла из двух предложений и гласила: «Воспоминание о диктатуре в ГДР не может подчеркивать относительность воспоминания о холокосте / Воспоминание о холокосте не может делать тривиальным воспоминание о диктатуре в ГДР». Это соломоново решение задало в отдельно взятом случае историко-политические рамки воспоминаний, что позволило достичь консенсуса, который в свою очередь воздавал должное многообразию и неодинаковости проблематики воспоминаний.

В то время как монологическое воспоминание ставит в центр внимания собственное страдание, диалогическое воспоминание включает горе, причиненное соседу, в собственную память. Диалогическое воспоминание подразумевает не рассчитанный на длительное время этический завет памяти, а общее историческое знание об изменчивой ролевой постановке «преступник-жертва» в пережитой совместно исторической травме. Объединенная Европа нуждается не в унифицированном, но скорее в обоюдном понимании европейской истории. Для меня речь ни в коем случае не идет о типизированном европейском господствующем нарративе, но о диалогической соотнесенности и взаимной способности к состыковке национальных видений истории. Итальянский историк Луиза Пассерини в этой связи ввела в научный оборот одно важное отличие. Она различает “shared narratives” (или разделенные истории) и “shareable narratives” в смысле историй, способных к состыковке.¹⁴¹ Диалогическое воспоминание укоренено в национальной памяти, но оно переходит национальные границы, приобретая транснациональную перспективу. Перспектива общего будущего может открыться только на основе взаимного признания жертв. Однако до тех пор, пока узкие национальные взгляды на историю остаются доминирующими, в Европе по-прежнему будет царить «диалог тугоухих», если не сказать – подспудная «гражданская война воспоминаний». Из тупика героических мифов и соревнований в том, кто понес больше жертв, может вывести только, говоря словами Петера Эстерхази, «общее европейское знание о нас самих как о преступниках и жертвах».¹⁴² Принцип транснационального диалогического воспоминания в Европе четко выразил еще один венгерский писатель, а именно Дьёрдь Конрад: «Это очень хорошо, когда мы обмениваемся воспоминаниями и узнаем, что другие думают о наших историях. <...> Вся европейская история является все больше всеобщим достоянием, которое без обязательства национальных или других предрассудков доступно для любого и каждого».¹⁴³ И хотя Конрад описал здесь положение, которое еще не сложилось, тем не менее он поименно назвал тот особый потенциал, который культурные рамки Евросоюза содержат для государств – членов ЕС.

¹⁴¹ *Passerini L.* Shareable Narratives? Intersubjectivity, Life Stories and Reinterpreting the Past. Advanced Oral History Summer Seminar, 11-16 August 2002, Berkeley. P. 5, 14.

¹⁴² *Esterhazy P.* Alle Hände sind unsere Hände // *Süddeutsche Zeitung*. 11. Okt. 2004. S. 16.

¹⁴³ *Konrad G.* Aufrühr. Rede zur Eröffnung des 50-jährigen Bestehens der Aktion Sühnezeichen am 3. Mai 2008 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin. (www.asf-ev.de/fileadmin/asf_upload/aktuelles/Jubilaum2008/gyoergy.pdf)

Резюме

Израильский писатель Амос Оз написал однажды: «Если бы мне принадлежало решающее слово в ходе мирных переговоров – не важно где, в Уай-Ривер, в Осло или еще где-нибудь, я бы отдал указание специалистам по звуку отключать микрофоны, как только одна из сторон переговоров начнет говорить о прошлом. В конце концов им платят за то, чтобы они нашли решение насущных проблем и проблем будущего!»¹⁴⁴ К сожалению, вопросы овладения прошлым и разрешения неотложных проблем будущего не всегда можно так ясно отделить друг от друга, как это здесь предполагается. Напротив, то, каким образом вспоминается прошлое, сегодня во всем мире самым теснейшим образом связаны с настоящим и будущим.

Спустя 65 лет после Второй мировой войны мы смотрим на различные этапы и формы политики в области отношения к прошлому. В начале пути доминировало молчание, которое я здесь обозначила как «диалог забвений». И хотя в ходе применения международной юстиции, видные военные преступники оказались на скамье подсудимых, внутри (западногерманского) общества в качестве эффективной стратегии социальной интеграции практиковались прощение и забвение при широкомасштабном исключении еврейской трагедии из дискурса памяти. Еврейские жертвы также были преданы общему забвению европейскими нациями внутри блоков холодной войны. Только в 1980-е годы Холокост выступил из тени Второй мировой войны и укоренился в (мировом) сознании как главное преступление XX-го века против человечности. Политика «подведения итоговой черты» и молчания, которая оправдывает себя разве что в ситуациях симметричного насилия, терпит неудачу там, где речь идет о радикальном асимметричном соотношении насильственных действий. В то время как диалогическое молчание основывается на обоюдном соглашении,

¹⁴⁴ Oz A. *Israelis und Araber: Der Heilungsprozeß // Trialog der Kulturen im Zeitalter der Globalisierung. Sinclair-Haus Gespräche. 11. Gespräch 5. – 8. Dez. 1998 / Herbert Quandt-Stiftung (Hrsg.). S. 82–89, здесь S. 83.* Ричард Кинг пишет об израильско-палестинском конфликте: «Ожесточенный израильско-палестинский конфликт может выглядеть для стороннего наблюдателя как случай, где эффективное действие для разрешения конфликта может быть достигнуто за счет большой дозы исторической амнезии с обеих сторон. С этой точки зрения, старое выражение “Те, кто забывают прошлое, обречены повторить его”, должно быть изменено на высказывание «Те, кто забывают прошлое, получают свободу действия»». *King R.H. Reflections on Memory, Identity and Political Action // Letters (The Semiannual Newsletter of the Robert Penn Warren Center for the Humanities). Spring 2002, Vol. 10, No. 2.* (http://discoverarchive.vanderbilt.edu/xmlui/bitstream/handle/1803/1534/Letters10_No2_Spring2002.pdf?sequence=1)

репрессивное молчание продлевает деструктивное соотношение сил, щадя преступников и нанося ущерб жертвам.

Вторая модель, длительная мемориализация, является новой формой политики в области воспоминаний, специально выработанной для Холокоста. Императив «Это не должно быть забыто никогда!» в этой своей абсолютности не применим больше ни к какому другому травматическому прошлому. Этот императив, который проводит мост между нацией-жертвой и нацией-преступником, приводит к тому, что глобальное общество приобретает новое качество свидетеля или присяжного. В свою очередь это долговременное самообязательство – помнить – возводит историческую эпоху в ранг нормативного «прошлого» и выступает в роли (светско-)религиозного исповедания. С формированием воспоминания о Холокосте установка в политическом и социальном контексте была изменена с «забвения» на «воспоминание». Это воспоминание изменило политическую восприимчивость в глобальном масштабе, однако монументальное, светско-религиозное и приобретшее глобальный масштаб воспоминание о Холокосте тем не менее не стало моделью для обращения с другими историческими травмами.

Начиная с 1990-х годов, возникла еще одна форма воспоминания: ее политическая и культурная цель состоит в признании и почитании жертв, однако без поминовения во веки веков. Эта третья модель имеет своей целью проработку и осмысление травматического прошлого, – процесс, результатом которого должны стать не воспоминание *per se*, а трансформация государственного насилия в структуры моральной ответственности и успешная социальная реинтеграция жертв и преступников. Речь идет о том, чтобы дать жертвам слово, тем самым получив возможность преодолеть взрывоопасный опыт насилия – историю применения политического террора, такую как в Аргентине, или историю колониального насилия, как в Австралии. В случае этой третьей модели речь идет не о продолжительном *сохранении* прошлого, а об *овладении* им в смысле преодоления конфликта, примирения и открытия возможности общего будущего.

Наконец, диалогическое воспоминание, которое пока только развивается и еще не является надежной практикуемой формой политики воспоминаний, дает ответ на реальность общей истории насилия, в которую оказались вовлечены две или более наций. Диалогическое воспоминание имеет особый шанс в таком союзе государств, как

Европа; здесь речь идет о том, чтобы через формы взаимного сближения и открытости сделать более прозрачными границы моно-национальной памяти, а за счет создания дифференцированных и толерантных к двусмысленности исторических конструкций усилить транснациональную интеграцию.

Хотелось бы закончить статью рядом тезисов, посвященных силе воздействия воспоминаний:

1. *Воспоминания амбивалентны*, они могут сыграть роль как яда (на это ссылается Амос Оз), так и лекарства. Станут ли воспоминания частью проблемы и только увеличат насильственный потенциал прошлого или внесут свой вклад в преодолении насилия, зависит от того вида и способа, с помощью которого они вводятся в социальную и политическую ситуацию. Опыт деятельности так называемых «Комиссий правды» свидетельствует о том, что воспоминания способны выступить опорой для политического преобразования авторитарных структур в демократические, а также внести свой вклад в социальную интеграцию общества.

2. *Воспоминания принципиально склонны к определенной перспективе, они пристрастны и носят частный характер*. Эти три характеристики подчеркивают, что воспоминания ограничены в той же степени, что и кругозор и наблюдения действующих лиц и жертв. В то время как историк помещает различные события в причинно-следственный и нарративный контекст, воспоминания выбирают для себя события соотносясь с отдельно взятым опытом. По этой причине они зачастую не сочетаются и не связаны между собой, а еще чаще противоречивы и полемически настроены по отношению друг к другу. Насыщенное воспоминание с одной стороны и полное забвение с другой также могут поддерживать жизнь непримиримых конфликтов.

3. *Воспоминания избирательны и сужают перспективу*. Само собой разумеется, что воспоминания охватывают только крошечную долю прошлого. Но помимо этого воспоминания имеют также стойкую тенденцию к сужению обзора. Важнейшей причиной этого выступает то, что люди охотнее вспоминают события, которые поддерживают их собственный позитивный образ, чем те события, которые его подрывают. Что касается национальной памяти, то в ее призме приемлемый отрезок истории легко становится защитной ширмой против постыдных, вызывающих беспокойство или по-иному нежелательных воспоминаний. Поэтому неприятные

события такого рода зачастую длительное время замалчиваются и не получают доступа для участия в общественной коммуникации.

4. *Воспоминания динамичны.* Что из прошлого вспоминается в соответствующий момент, а что забывается, в меньшей степени зависит от состояния научного познания, а в большей – от культурно очерченных достижений, чувствительности и потребностей данного конкретного общества. В годы холодной войны о Второй мировой вспоминали иначе, чем сегодня; воспоминания о Холокосте вообще только всего два десятилетия как переместились с периферии в центр западноевропейской памяти. Травматические истории насилия преодолевают, как мы уже знаем, длительные периоды латенции, прежде чем стать предметом воспоминаний.

5. *Воспоминания развиваются сегодня на транснациональном уровне.* Они больше не заперты в свои национальные границы, но возникают и существуют в условиях транснационального, практически глобального переплетения, а также в рамках, подразумевающих обращение к ним, наблюдение, признание и подражание. При этом центральную роль в качестве надгосударственных ценностных рамок играет ссылка на человеческое достоинство и права человека, которая ставит под вопрос традиционные представления национальных государств о себе самих.

6. *Воспоминание о травме колеблется между двумя полюсами и развивается на различных уровнях.* Драма травматического воспоминания колеблется между желанием, держать раны открытыми и в то же время закрыть их. Она разыгрывается при этом одновременно на совершенно разных уровнях: на индивидуальном уровне, уровне общества и уровне государства. Поэтому она приобретает психологическое, моральное и политическое измерение. При этом мы не должны забывать об еще одном измерении, которое постепенно занимает место в нашем сознании: религиозном. Здесь речь идет в конечном счете об упокоении душ умерших, которые нуждаются в подобающем погребении. Ядро любой культуры образуют разработанные формы коммуникации, регулирующие взаимодействие между живыми и мертвыми. Именно главная религиозная задача – упокоение душ ушедших, была нарушена самым серьезным образом нацистским террором. Не осталось могил для миллионов евреев, отравленных газом, сожженных в печах крематориев и развеянных по ветру. Это еще одна причина, почему эта рана не может затянуться. В других местах жертвы были расстреляны и зарыты в безымянных братских могилах. Некоторые из них, времен гражданской войны в Испании, снова открываются сегодня, спустя более чем 70 лет. В то время как

политики и общество все еще не пришли к консенсусу о том, как интегрировать эти жертвы в общую память, члены семей продолжают нести ответственность за то, чтобы оказать мертвым этот последний акт уважения.

Примечание редакции:

Все опубликованные в данном номере Бюллетеня статьи предоставлены авторами на основе докладов, сделанных на научных коллоквиумах Комиссии 2007 года (Светлогорск, тема: «Переломы политических систем») и 2008 (Констанц, тема: «Воспоминание и историческая память»).

Редакционная коллегия:

Юлия фон Зааль

Юрген Царуски

Екатерина Махотина